

Грант Матевосян

# ТОГДА, ЗИМОЮ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Книга должна быть  
возвращена не позже  
указанного здесь срока

Количество предвыданных  
книжек \_\_\_\_\_

45-1801

Экспертизадан утказилди  
УМКХТБнинг 19.07.2006 йил  
108-буғругига асосан

Комиссия аъзоси:

Ишдиқова Г.Т.

Ўйвақ О.П.

Ўкбарова Д.А.

Рахмонбердиева Ф.

Асанова И.Н.

Пирожкова Н.Б.

Абдуллаева Д.Р.







APM) 2  
M34

5.0.

92

osh

Грант Матевосян

# Тогда, Зимой

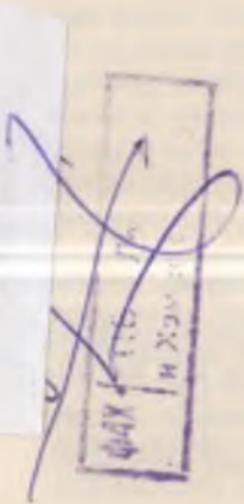
## РАССКАЗЫ

Перевод с армянского  
АНАИТ БАЯНДУР



*уш*

*УМАН*



ХАМЗА МАНИШИЙ ХИЗМАТ  
КУРГАТИШ КИЖ  
АХБОРОТ-РЕСУРС  
МАКЛАЗИ  
8569

Москва

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1987



С(Арм)2

М34

Рисунки А. Лурье

Матевосян Г.

М 34 Тогда, зимою: Рассказы/Пер. с арм. А. Баяндур;  
Рис. А. Лурье.— М.: Дет. лит., 1987.— 176 с., ил.

В пер.: 60 к.

Духовный облик молодого человека наших дней, отношения людей, нравственные искания человека — основная проблематика рассказов известного армянского прозаика.

М 4803010200—570 452—85  
М101(03)87

ББК 84Ар7  
С(Арм)2

© Предисловие. Перевод рассказов «До вашей эры, жарким, засушливым летом 1947-го», «Как я одолел математику». Иллюстрации.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА». 1987 г.

## НАСУЩНЫЙ ХЛЕБ ПРАВДЫ

**Т**о, о чем рассказывается в этой книге, случилось давно — во время Великой Отечественной войны и вскоре после нее. Теперь автору книги, известному писателю Гранту Матевосяну, пятьдесят лет. А тогда он был мальчиком, жил в горном армянском селе Ахнадзоре, учился в школе, пас скот и делал всякую иную крестьянскую работу. Потому что мужчины села ушли на фронт и почти все полегли на полях сражений, а их труд пахарей, пастухов и косарей остался на долю их жен, дряхлых стариков да детишек.

«Ты не знаешь, что такое война, и как хорошо, что ты всего этого не знаешь», — говорит писатель. Смысл этих слов ясен: как и большинство людей земли, он не хочет, чтобы ужасы и лишения войны обрушились на тебя и твоих сверстников. Но из этого вовсе не следует, будто тебе незачем знать, что такое война и чем она была для поколения, к которому принадлежит Грант Матевосян. Иначе бы он не писал о том времени.

Для того и надо помнить прошлое, чтобы не допустить новых страданий и жертв, чтобы народы не ослабили бдительности и успели перехватить преступную руку, если она потянется к военной кнопке.

О том, как жилось ребятам нашей страны в военные годы, написано много. Думаю, однако, что Грант Матевосян не взялся бы за перо только затем, чтобы прибавить к имеющимся книжкам еще одну, пусть и очень хорошую.

На вопрос, заданный себе: «Почему я пишу?» — он ответил: «...хочу быть летописцем их судеб — тех, кто — личность, но в общих сводках числится как человеческая единица, а в драмах великих трагиков пред-

ставляет собой фон, у плохих же писателей называется — толпа».

Герои Матевосяна — простые труженики. Жизнь большинства из них проходит в деревне, где от рождения до смерти каждый на виду у всех и ощущает себя плотью от плоти тех, кто жил на этой земле до него или живет сейчас. Слово *на род* — продолжение рода не в одном лишь биологическом, а и в культурном смысле, в наследовании трудового опыта, традиций, обычаев, нравственных понятий. Недаром книгу рассказов и повестей, за которую ему в 1984 году была присуждена Государственная премия СССР, Грант Матевосян назвал «Твой род».

В толчее городов люди — словно галька в полосе прибоя. Они пересыпаются с места на место, смешиваются, трутся, шлифуются друг о друга, становятся в чем-то похожими. Не надо быть приверженцем патриархальной старины, чтобы увидеть: в стороне от современного городского мельтешения сильнее ощутимы общественные связи человека и его индивидуальность; в его судьбе резче обозначены контрасты времени, крутые повороты народной судьбы.

Армик Мнацаканян из произведения «Тогда, зимою», Бабик Овинян из рассказа «Как я одолел математику», юные персонажи рассказов «Зеленая долина», «Чужак», «Хлеб», «До вашей эры, жарким, засушливым летом 1947-го», «Мой волк» близки характером и судьбой самому писателю в его детстве, отрочестве и ранней юности. Но со страниц этих произведений перед нами встает и обобщенный образ военного детства.

Ребята в книге Г. Матевосяна остро переживают чужую боль и словно бы не замечают своей. «Слово «мучиться» относилось, по мнению мальчика, к взрослым, к их работе,— сказано в повести «Тогда, зимою»,— а дети, их лишения и их посильная доля в работе — это мучением не было».

Необычайно восприимчив маленький человек к любви и теплу, которыми старшие невольно стараются смягчить для него тяготы жизни. И оттого особенно сильно в нем чувство неисполненного долга, стыда и вины перед теми, кто жертвенно и любовно оберегает его.

Вот малозначащая на первый взгляд сценка из рассказа «Хлеб». Отец, инвалид войны, больной и ус-

талый, хочет попросить сына сбегать в лес — разыскать потерявшихся свиней, пригнать их во двор. Но ни он, ни мать мальчика, хлопочущая по хозяйству, не решаются это сделать, потому что сын сидит над раскрытой книгой.

Неграмотные крестьяне не знают, что мальчик читает приключенческий роман. Для них свято все, что связано с книгой и, значит, с учением. А тем временем в душе героя происходит незримая борьба: «Я читал и чувствовал, что они хотят мне что-то сказать, но я делал вид, что ничего не замечаю, а только вот сижу и читаю книгу... потому что хорошо... когда в книжках другие идут и мокнут под дождем, и дерутся, и терпят поражение, а потом побеждают, и плохо... когда ты сам должен идти куда-то, уставать, искать и находить или не находить заблудившихся в лесу свиней».

Эпизод этот становится ключевым в рассказе не только потому, что направляет все дальнейшее повествование. Он становится ключевым, потому что юного героя уже в то время, когда отец нерешительно поглядывает на него, якобы увлеченного чтением, мучает стыд перед отцом. «И очень это был большой позор, — вспоминает рассказчик, — что я знал, о чем он хочет меня просить, и делал вид, что не знаю».

Мальчик все-таки уходит на поиски, но с полпути возвращается, зная, что никто не станет его бранить, а тем более проверять его добросовестность. Похоже, что детский эгоизм торжествует: сын ложится спать, а отец, преодолевая усталость и боль, отправляется в лес, на который уже надвинулась ночь. Однако не будем спешить с осуждением героя. Потому что самый строгий судья себе — он сам. И дело не в том лишь, что он не посмел есть приготовленный мамой, но не заслуженный им ужин и уснул голодным. Главное — в том жгучем стыде, который герой испытывает той ночью и много лет спустя при воспоминании об этом случае.

Непосредственностью, чистотой и силой нравственного чувства персонажи Матевосяна подчас напоминают героев таких писателей, как Лев Толстой, Ованес Туманян или Андрей Платонов. Они словно бы соревнуются между собой в совестливости.

Прислушаемся к разговору работающего вдали от дома отца с двенадцатилетним сыном.

« — Пока изгородь жгите, — сказал отец, — за хвостом больше не ходи.

— Лес рядом, стыдно, чтобы изгородь жгли.

— Что тебя мучаю — это стыдно, а изгородь жечь совсем не стыдно».

Стыд, испытываемый персонажами Матевосяна, — это мера их совести, честности перед собой и людьми, в конечном счете — мера их человеческого долга и мужества.

Вернувшийся с фронта солдат стыдится показываться на глаза односельчанам, потерявшим на войне близких. У него такое чувство, будто он лично виноват в том, что они погибли, а он остался жить.

Не подлежит призыву в армию его младший брат — единственный оставшийся в деревне кормилец инвалидов-родителей. Но и старики и их сын стесняются перед людьми своего счастья, и юноша уходит на фронт добровольцем.

Положительные герои Матевосяна хороши не потому, что они не ошибаются и не совершают предосудительных поступков. Ошибаются, да еще и как! Но гарантией их нравственного поиска, их гражданского становления и роста служит неотступно тревожащий их вопрос: «...как же это получается, что я хороший, и он хороший, и ты хороший, и все мы хорошие, а плохие вещи все же происходят?»

Такая вещь происходит в рассказе «Чужак», несмотря на то, что герой-рассказчик, кажется, вовремя прислушался к голосу совести. Когда вожак одной из соревнующихся групп мальчиков, Мадат, не захотел, чтобы в его группе бежал хилый, вечно подвергающийся насмешкам Артавазд, и рассказчик вспомнил, как сам только что со смехом вычитывал стершиеся буквы на рубашке Артавазда, сшитой из старого библиотечного лозунга, — ему стало нестерпимо стыдно оттого, что Чужак «молча стоял в этой своей рубашке под нашими взглядами, молча слушал спор о себе и о собственной непригодности...».

Тогда-то герой и подумал о себе, что «самый плохой, самый мерзкий среди всех я, потому что я позволил, чтобы они вот так обсуждали его, я допустил такое, а сам стою и всякие буквы выскиваю на его спине. Он сглотнул слюну, его тонкая шея напряглась, и я почувствовал, что мне самому стало душно и невозможно дышать, что я сам уже задыхаюсь вместо него».

И все-таки плохая вещь происходит. Благородно принявший Артавазда в свою группу герой рассказа, по сути, предаст его. И через четверть века после того, как он уговаривал Артавазда вернуться с полдороги назад, а учительнице сказать, будто пробежал со всеми всю дистанцию и в доказательство показать захваченные рассказчиком с лесозавода опилки, герой-рассказчик будет вспоминать историю своей большой совести, пытаясь понять, как же его добрые чувства и намерения привели в конце концов к предательству товарища.

А началось все с трусости героя, с его боязни разделить с Артаваздом поражение в соревновании, с попытки предотвратить позор поражения «невинным», как ему кажется, обманом. И со зла на Артавазда, во всем тщедушном теле которого не нашлось места даже для маленькой лжи и который не понимал, что вообще возможно так поступить, и готов был умереть, но пробежать непосильную для него дистанцию до конца.

И тогда рассказчик не выдержал, покинул выбившегося из сил, плачущего товарища, чтобы показать учительнице, что он-то задание выполнил. И эта жалкая победа стала его великим поражением. Ведь на вопрос учительницы: «А где же Артавазд?» — он не мог ответить: «Он здесь, рядом». И все его опилки и бег стали ненужными, лишились смысла.

Есть в книге Матевосяна и другие персонажи, ни при каких случаях не испытывающие стыда или угрызений совести, всегда собою довольные. Они даже гордятся тем, что является их позором: своим умением добывать личное благополучие из всенародной нужды и бедствия. Отец Армика Мнацаканяна называет этих своекорыстных хитрецов аферистами. Их немного в произведениях писателя, да и появляются они в качестве лиц второстепенных, нередко только упоминаемых другими героями. Они неинтересны писателю, потому что примитивны, как булыжники, в своей однозначной нацеленности на физическое выживание, в циничной уверенности, что ради комфорта и внешних благ можно поступиться решительно всем, даже Родиной.

Люди, интересные и дорогие писателю, совсем не аскеты, хотя и досталось им жить в годы величайшей народной нужды в разоренной войной стране. Но жизнь в их понимании не только и х собственное

и уж тем более не всякое существование. Она неотстранима от жизни родного села, окружающих гор, на которых растет заповедный лес, воспетый народным поэтом-классиком Туманяном, от зеленой долины, освещенной солнцем, от славной истории Отечества, от бытия всего рода людского.

Книга Гранта Матевосяна не легкое, развлекающее чтение. В нее надо вчитываться внимательно и неторопливо. Писатель ничего не придумывает для увлечения читателя. Наверное, поэтому в его произведениях почти нет захватывающих дух приключений и мало смешного. Ведь время, о котором повествует писатель, было суровым и трагическим.

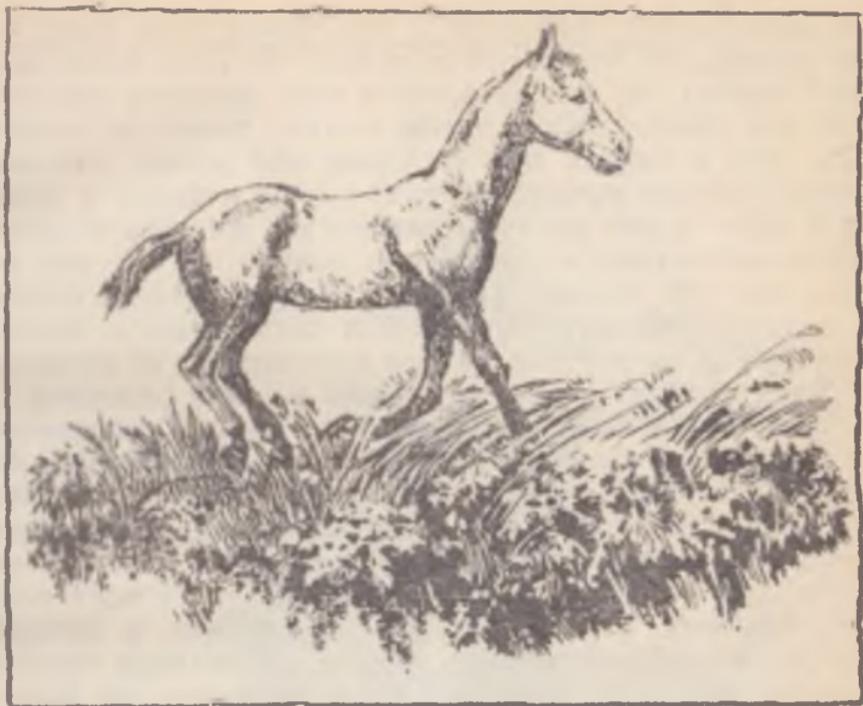
Но сквозь его призму писателю (а значит, и нам) доступнее увидеть правду, которая не зависит от случайной злобы дня и одинаково нужна людям во все времена. А что может быть интереснее такой правды!

С тех пор в родном писателю Ахнадзоре и повсюду в стране неузнаваемо изменилась жизнь. Мы стали несравненно богаче, образованнее, благополучнее. Мы сорок лет живем под мирным небом, и это прекрасно! Но так ли сильно изменились мы к лучшему, как изменилась к лучшему наша внешняя, видимая глазом жизнь?

Герои Г. Матевосяна бедны. Но в критических, или, как теперь говорят, экстремальных, условиях человек раскрывается как бы в чистом, обнаженном виде. Тогда яснее зримы и подлинное добро, и самое страшное зло.

Читая неторопливую, немногословную, как ее герои, исполненную внутреннего напряжения и достоинства прозу Матевосяна, мы постигаем великую и трудную, не обязательно приятную и радостную, но всегда целительную для души и необходимую, как насущный хлеб, правду народного бытия, ибо только она помогает нам становиться и оставаться Людьми.

*Игорь Мотяшов*



## ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА

---

**М**олния с сухим треском ударилась о скалу, была отброшена в сторону и ушла в зеленую землю. Скала была крепкая, молнии вряд ли удалось оторвать от нее два-три осколочка. Зеленая земля под скалой была могилой всех молний, посягающих на эту долину, — все весенние и летние молнии оставались навсегда погребенными под этой скалой, и большой раскидистый дуб при каждом взрыве молнии на своем дубьем языке мысленно благодарил скалу за то, что она, скала, испокон веку принимает на себя все молнии и отшвыривает их в долину, спасая дуб от верной гибели.

Когда молния еще металась по небу и раздумывала, сейчас ей взорваться или чуть позже, мать жеребенка мягким ржанием подозвала его к себе: мать знала, что

молния сейчас взорвется и что взрыв этот напугает ее ребенка, но жеребенок подумал, что мать хочет дать ему молока, он прислушался к себе, дрогнул ушками, еще раз прислушался, чтобы понять, хочет он молока или нет, и понял, что не очень еще хочет, что ему сейчас больше хочется нюхать цветы и травы и узнавать их,— и вот тут-то и взорвалась молния. Жеребенок вскинулся и побежал к матери, но он так испугался, что не видел мать и потому бежал совсем в другую сторону. Мать пошла было сама к своему жеребенку, но веревка на шее держала ее, не пускала. И мать позвала к себе жеребенка мягким ржанием.

Жеребенку было всего месяц от роду, в одномесячной короткой его жизни это была первая молния. Он спрятался под брюхо матери и оттуда, наострив уши, послушал немножко, как барабанит дождь по листьям дуба. Потом он выглянул, увидел скалу, куст шиповника, дуб; он похлопал глазами и забыл, что испугался молнии, ему показалось, что он пришел к матери, потому что ему захотелось молока. Помахивая черным кончиком хвоста, жеребенок снова забрался под брюхо матери. Старая лошадь отставила ногу и вся расслабилась, чтобы ее жеребенку легче было сосать.

Жеребенок этот был удивительно хорош — весь в звездочках, как будто на него опустился иней. Ножки у жеребенка были тонкие, высокие. Правая задняя нога наполовину белая, как будто в белом чулочке, а задняя левая — в снегу. Шея узкая и длинная. Голова маленькая, на лбу круглое белое пятнышко, тоже как звездочка. В эту долину испить воды приходили лани и козлята, овцы с ягнятами и еще вот эта лошадь, у которой было много жеребят на своем веку, но такого красивого еще никогда не было. Этот жеребенок был самым прекрасным существом зеленой долины. Грива и хвост его были черные. Мы не знали, какие у него глаза. Но наверняка глаза у него были очень красивые, потому что у всех лошадей красивые глаза: в них обычно отражается вся окружающая их местность. В глазах этого жеребенка отражались дуб, цветы, куст шиповника, его красная мать и вся зеленая долина.

Он был немножко глупенький, этот жеребенок, но был глупенький потому, что был очень маленький. Капля дождя скатилась по его ноге, и он шарахнулся, взбрыкнул и убежал от матери. Мать не стала звать его



обратно: дождь кончился, молнии сегодня не должно было быть и солнце на небе уже сияло вовсю.

Зеленая долина так и сверкала, вся залитая солнцем. Омытые дождем, сверкали листья на дубе. И куст шиповника тоже блестел. И мокрая спина лошади тоже. И спина жеребенка. И ручей, который начинался от серой скалы и проходил по всей зеленой долине. Но от ручья пахло молнией: жеребенок отбежал немного, остановился, поглядел издали и снова, шагок за шагом, стал приближаться, чтобы еще раз понюхать.

Старая лошадь знала все ароматы и запахи этой долины. Она знала запахи и ароматы всех здешних долин и холмов, но запахи этой долины знала лучше, потому что лошадь часто привязывали тут. Запах молнии должен был сейчас исчезнуть, солнце должно было осушить его вместе с росой. Запах тимьяна был занесен сюда с холмов ветром вместе с запахом мокрой овечьей шерсти. Лошадь паслась и думала, что на той стороне холмов пасутся овцы, раз ветер доносит с той стороны запах мокрой овечьей шерсти — значит, и собаки там, и пастух.

«На той стороне холмов пасутся овцы, влажная трава в долине вкусная, вода в ручье сладкая, — думала старая лошадь, — греет солнце, и жеребенок пасется и растет среди доброго и теплого покоя этой хорошей долины».

Лошадь подняла голову: дуб стоял спокойно, разомлев от тепла, дремала серая скала, жеребенок принюхивался к шиповнику. Грекло солнце, и трава после дождя была вкусная, надо было пастись. Лошадь опустила голову, старая красная лошадь долго прислушивалась к тишине. И долго вглядывалась в долину. Все кругом было так, как минуту назад: спокойно стоял дуб, тихо дремала скала, а жеребеночек прыгал и носился вокруг куста шиповника. И вроде бы можно было спокойно пастись, но красная лошадь даже не донесла морду до земли, она резко вскинула голову и подождала, наострив уши, чтобы уловить все тайные голоса долины. Потом раздула ноздри и опять подождала, чтобы почувствовать все чужие запахи долины. Плавню порхали бабочки, пели пчелы, звенел ручеек, и, вытянув шею, гонялся за бабочкой вокруг куста шиповника жеребенок, но старая красная лошадь хо-

тела слышать не эти голоса и хотела видеть не эти картины. В долине таилась какая-то опасность. В воздухе от этой опасности не было ни звука. Опасности этой не было видно, и ветер не доносил ее запаха, но старая лошадь не могла уже спокойно пастись.

Старая красная лошадь начала сердиться. Красная лошадь сердилась, потому что в долине был враг, но этого врага не было видно, не было слышно и точное место его было невозможно определить.

Стоя посреди зеленой долины, смотрели во все глаза и внимали тишине серая скала, могучий раскидистый дуб, красная старая лошадь и куст шиповника. Для скалы в зеленой долине не было никакой опасности, потому что молния сегодня уже была и прошла. Для дуба тоже все было хорошо, потому что скала снова защитила его от молнии, да и солнышко грело ласково. И для шиповника все было хорошо, потому что жеребенок не мог дотянуться до двух его ослепительно белых цветков. А старая красная лошадь от напряженного ожидания вся взмокла.

Долина изменила лошади: в долине таился враг, но долина не выдавала этого врага, не выдавала ни голоса его, ни запаха. Красная старая лошадь не решалась дышать: боялась не услышать сквозь шум легких дыхание врага. Красная старая лошадь не мигала глазами: боялась, что за то время, пока она моргнет, враг прыгнет с места на место и она не успеет это заметить.

Вот так стояли неподвижно в долине скала, дуб, куст шиповника, лошадь. Скала дремала. Желуди на дубе, защищенные крепкой броней, наливались соком, и дуб радовался, что все так хорошо. Шиповник подставил свои чашечки цветов солнцу и впитывал в себя его тепло, а красная старая лошадь дрожала от негодования. Никогда еще, ни разу долина так не предавала ее. Может быть, запах молнии мешал лошади почувствовать тот, другой запах, запах врага, который был близко, совсем близко,— лошадь принюхивалась, но запах врага прятался в запахе кислорода, оставшегося после молнии.

Жеребенок внимательно смотрел на что-то, потом оглядывался на мать. Потом снова смотрел на это что-то и снова оглядывался. Но мать не видела того, на что смотрел ее жеребенок. С того места, где стояла

мать, этого не было видно. Жеребенок смотрел на это что-то, потом поворачивал голову к матери — мать стояла неподвижно, вытянув голову, и глаза у матери горели.

Жеребенок еще раз оглянулся на мать и шагнул к тому, на что смотрел с таким любопытством. И в эту минуту мать почувствовала нестерпимый омерзительный запах волка. Мать заржала и кинулась к жеребенку и увидела, каким плавным и длинным прыжком оторвался от земли и прыгнул к ее малышу волк.

На той стороне холмов собаки-волкодавы, охраняющие овец, услышали короткое раздраженное ржание лошади. Собаки было исполошились, но скоро все снова стало тихо, и они успокоились.

Красная лошадь метнулась к жеребенку, она кинулась к нему со всего размаху и упала. Это была старая лошадь и за всю свою долгую жизнь ей приходилось не раз падать, но на этот раз это было очень неожиданно. Она упала и тут же вскочила.

А упала потому, что была на привязи, и потому, что кинулась к жеребенку со всего размаху. И сейчас веревка душила ее, веревка не пускала ее к жеребеночку.

Жеребенок хотел к матери, он хотел, сделав большой круг, прибежать к матери, но волк каждый раз перерезал ему дорогу, и жеребенок убегал от матери все дальше и дальше. А веревка душила мать. Наконец жеребенок придумал, как быть: надо было перепрыгнуть через волка. Он так и сделал, но волк снизу ухватил жеребенка за ногу, и жеребенок упал. Жеребенок испуганно закричал и вскочил.

На той стороне послышалось острое ржание жеребенка, и собаки-волкодавы насторожились, и особенно насторожился среди них пес Топуш.

Жеребенок крикнул и вскочил, и в то же мгновение его мать присела на задние ноги и всюю тяжестью, со всей силою метнула себя к волку и жеребенку, и веревка, державшая ее, оборвалась и хлестнула ее по ногам. И мать помчалась со всею яростью и со всею любовью. Это была очень быстрая в движениях кобыла, но никогда в жизни не летела еще она так быстро.

На той стороне холмов послышался глухой стук ее подков по земле. Потом на той стороне холмов все

голоса долины снова стихли, и собаки и маленький пастух снова успокоились.

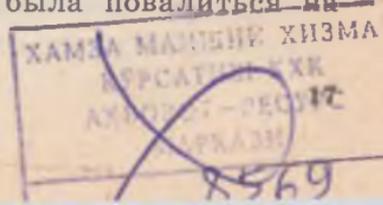
Волк оставил жеребеночка и увернулся, выскользнул из-под копыт старой лошади. Лошадь нападала на него, волк немного отбежал. Лошадь наступала на него, и волк еще немного отодвинулся. Почти касаясь земли мордой, лошадь шла на него медленно, угрожающе, и волк весь распластался по земле и готовился прыгнуть и вцепиться лошади в ноздри. И тогда лошадь повернулась к нему задом.

Лошадь повернулась к нему задом, и волк не прыгнул, но сделал круг и очутился перед мордой лошади. Взяв жеребенка себе под брюхо, лошадь снова повернулась к волку задом, и волк снова обежал ее и стал перед мордой. Но лошадь успела повернуться, изловчилась и лягнула волка. Одним длинным прыжком волк снова очутился под мордой у лошади, и лошадь не успела на этот раз так быстро увернуться: волк вцепился ей в ноздри, но лошадь сумела все же отшвырнуть его передними ногами. Но волк не убежал, волк сел и поглядел на лошадь. И лошадь тоже поглядела на волка. И волк понял, что лошадь своего жеребенка будет защищать до последнего, а лошадь поняла, что волк не уйдет так просто. Лошадь была вся в мыле, но волк тоже порядком устал. Волк метнулся неожиданно, сразу, и после этого он все прыгал, пытаясь ухватить лошадь за ноздри, а лошадь все поворачивалась к нему задом, не выпуская жеребенка из-под брюха. Уже совсем стемнело, их движения сделались медленными; волк кружил вокруг лошади почти что ползком, еле волоча ноги, и лошадь тоже кружилась медленно, тяжело, иногда спотыкаясь, с трудом удерживаясь, чтоб не упасть. В глазах у них потемнело, они едва различали друг друга. От усталости они оба почти оглохли.

Маленький пастух поднялся на вершину холма и смотрел на солнечный закат. Закат был красный, в его свете красиво темнел единственный дуб в долине... Но то, что увидел маленький пастух, было так безобразно, что маленький пастух задохся от гнева: там внизу, в долине, волк вцепился в морду их старой красной лошади, и красная лошадь не могла растоптать волка, а красная лошадь вот-вот должна была повалиться на землю.



8404-1





— Эй! Кто там есть, эй! — слышалось с холмов, которые огибали долину с другой стороны.— Волк душил лошадь, сейчас задушит, эй, где собаки, пустите собак, эй!..

Маленький пастух открыл было рот, чтобы закричать, но не смог, у него вдруг пропал голос. Маленький пастух только махал руками и не мог выговорить ни слова. Собаки насторожились и посмотрели вниз, на долину. И собаки увидели все и полетели... Топуш, Боб, Сево, Богар, Чалак, Чамбар... Черномордый Топуш был самый опытный среди них, молча напал он на волка, молча душил его. Он и сейчас молча бежал впереди всех. А Богар был самым молодым в своре, он немного побаивался волков и поэтому еще издали начинал лаять, чтобы волки убежали и чтобы драки не было. Вот и сейчас Богар бежал и лаял, то и дело обгонял Топуша, но не смел оторваться от всех и бежать впереди. И он останавливался и поджидал Топуша, некоторое время бежал рядом с ним, снова обгонял его и снова поджидал.

Когда лошадь вот-вот уже должна была упасть, волк словно во сне услышал собачий лай. Волк не захотел поверить, что собаки лают на него,— не могла же быть судьба так зла, чтобы целый день труда пропал даром. Неужели он должен был вернуться к своим щенкам голодный и без добычи?

Когда все силы иссякли в ней и боль в ноздрях притупилась, а в глазах уже было черным-черно и уши словно ватой заложило, мать-лошадь услышала вдали собачий лай и поверила, что собаки лают из-за ее жеребеночка,— не могла же судьба быть так зла, чтобы вот так дать умереть ее жеребенку. Старая лошадь знала, что лай кажется далеким оттого, что она устала и плохо слышит. Старая лошадь знала, что надо еще немножко продержаться, пока собаки добегут до нее. Но как трудно стало дышать, какой тяжелой ношей сделалась эта жизнь...

Собачий лай взорвался над самым ухом волка, а волк все еще не верил, что после такой трудно доставшейся удачи последует такая неудача. Дома щенки голодные, что же теперь делать, в шее сильно закололо, заболело ухо, и волк отпустил лошадь. Лапа его была намертво прижата к земле. Чтобы высвободить лапу, нужны были силы, но где же их было взять,

господи, волку хотелось спать, спать. Волку хотелось умереть, отдохнуть наконец от всего. Волк приник к земле — главное, защитить горло, чтобы собаки не могли вцепиться в горло. И собаки вцепились ему в спину, стали трепать его за шею, за уши, а волк защищал только горло и набирался сил и отдыхал под грудой собак.

Он укусил чью-то лапу, и одна из собак с воем отскочила. Он поднялся, и собаки, окружив его, подождали, что он будет делать. Волк оглянулся: собак было очень много и было трудно, было невозможно трудно вырваться от них и добраться до дома, где его ждали щенки. Обнажив клыки, волк поглядел на собак, и собаки поглядели на волка. С минуту они глядели так друг на друга, и волк не знал еще, что будет делать, и собаки тоже не знали, что будут делать. И одна из собак, вся покрывшись мурашками, прыгнула на волка. Волк еле удержался на ногах и понял, что самая опасная из собак — это черномордая.

— Эй, парень, эй!.. Кто там есть... Беги, помоги собакам, беги, помоги им задушить волка, эй!.. — звали с противоположного холма.

Лошадь еле держалась на ногах. Голова у лошади отяжелела и клонилась книзу. Лошадь чувствовала, что жеребеночек сосет ее, и не могла даже радоваться этому. Голова у лошади упала, передние ноги подогнулись, а жеребенок еще сосал мать. Лошадь рухнула на землю. Жеребенок стоял рядом и ждал, когда мать поднимется, но мать не поднималась. Жеребенок ткнулся мордочкой матери в брюхо, но мать не встала и даже не пошевелинулась. Жеребенок сел на землю рядом с матерью — задние ноги его больно подломились — и стал сосать. И мать еще давала молоко, еще давала обильное молоко, в последний раз давала молоко своему уже осиротевшему жеребенку, самому красивому из всех ее жеребят, маленькому жеребенку, который был весь покрыт звездочками, у которого хвост и грива были черные, кудрявые, одна ножка вся белая и на лбу звездочка и который был немножечко глупенький, но был глупенький потому, что был маленький.

А волк — волк сумел все же убежать. Если бы он не смог убежать, его щенки осиротели бы и остались бы совершенно беспомощными, непременно погибли бы.

И волк сумел убежать. Это не было бегством. Это было долгое хитрое отступление, шаг за шагом, прыжок за прыжком. Когда собаки настигали его и вот-вот должны были изорвать в клочки, волк оборачивался, обнажал клыки, шерсть на нем вставала дыбом, и это останавливало собак, а волк в это время удалялся еще на два-три прыжка.

Черномордый волкодав так и не смог схватить волка за горло, и волк не смог укусить его в ответ и испугать его — черномордый волкодав не преследовал больше волка, потому что заглотнул клочок волчьей шерсти и, отстав от всех, кашлял, давился и с отворачиванием прочищал себе горло. Черномордый волкодав не преследовал волка, а все остальные собаки были не особенно опасны, потому что не были мастерами своего дела, как черномордый волкодав.

Собаки упустили волка, потом потеряли его след, но долгое время еще крутились и носились с лаем по зеленой долине, где совсем уже почернела скала, где спокойно стоял дуб, где подставил росе свои две чашечки цветов куст шиповника и где лежало на земле тело красной старой лошади.

Жеребенок стоял возле матери и немножечко уже беспокоился и как будто уже понимал, что случилось.

Лучи заходящего солнца в последний раз осветили зеленую долину, и был черным, очень черным круг земли возле старой красной лошади. Тело красной лошади лежало на этом черном кругу. Этот черный круг был местом поединка лошади и волка, черный этот круг вытоптала лошадь. Глядя на этот вытоптаный черный кусок земли, можно было понять, как долго кружилась тут старая лошадь и заставляла кружиться за собой волка.

Этот черный круг так и оставался черным целых три года. Около трех лет здесь ничего не росло, и белый скелет нашей старой хорошей лошади одиноко валялся на этом черном кругу. Потом зелень ододела — сначала по бокам скелета проклюнулось несколько травинок и пробились цветы, потом разом поднялась, взошла пышная трава, и зеленая долина теперь снова полностью зеленая.

Когда смотришь на нее с вершины холма — зеленая долина полностью зеленая, и царственно стоит дуб рядом со скалой, а скала прислушивается сквозь дрему

к круговороту облаков, а куст шиповника чуть подальше нежится, подставив солнцу пять цветочных своих чашечек, и пасется на зеленой долине лошадь, вся в звездочках, задняя правая нога ниже голени белая, ноги длинные, шея длинная, грива и хвост темные, на лбу белая звездочка. Когда она делает шаг, ее правая задняя нога немного вытягивается и дрожит, потому что там есть старый шрам.

Лошадь поднимает красивую голову со звездочкой на лбу, и в ее глазах отражается скала, дуб, зацветший шиповник, зеленая долина и белые облака на синем небе.

— Всё?

— Всё.

— Нет.

— Почему — нет?

— Пусть мать-лошадь не умирает.

— Как же я могу тебе сказать, что мать-лошадь не умерла? Мать-лошадь была уже мертвая, а жеребенок грустно стоял рядом с матерью. Когда тот пастух, который кричал: «Эй, парень, эй», когда этот пастух спустился с противоположного холма, мать-лошадь уже была холодная, и старый пастух, и маленький пастушок посидели немного рядом с телом красной лошади и подумали, как им теперь вырастить жеребенка без матери.

— И как, вырастили?

— Вырастили. Молоком от другой лошади.

— Нет, мать пусть не умирает.

— Как же мне говорить, что мать не умерла, ведь все то лето я кормил осиротевшего жеребенка молоком других лошадей.

— Сказать, как было?

— Скажи.

— Пастушок раньше поднялся на вершину холма и вовремя заметил волка.

— Пастушок поднялся на вершину холма поздно, когда нельзя было уже помочь.

— А почему она умерла, лошадь?

— Когда старый пастух и маленький пастушок сидели рядом с телом мертвой красной лошади, старый пастух сказал маленькому пастушку, что сердце у ло-

шади разорвалось от страха за своего жеребенка и еще — от ярости. От ярости и отвращения.

— Отвращения к волку?

— Да, к волку.

— Я хочу, чтобы собаки задушили волка.

— Нет, я не могу тебе сказать, что собаки задушили волка, потому что наш черномордый волкодав Топуш проглотил волчью шерсть и сам чуть не сдох.

— Маленький пастушок был ты?

— Я, и лошадь была наша, и жеребенок был жеребенком нашей лошади.

— А теперь жеребенок вырос и привязан на зеленой долине?

— Да, вырос и привязан на зеленой долине.

— А свою красную маму он помнит?

— Может быть, и помнит, потому что у лошадей есть память.

— Ну, тогда расскажи все сначала.

— Молния с сухим треском ударилась о скалу, была отброшена в сторону и ушла в зеленую землю. Серая скала была крепкая, молнии едва удалось оторвать от нее две-три крупницы камня. Соседний дуб, правда, немножечко испугался, потому что молнии обычно попадают в дуб и сжигают его. Немножко испугался дуб, и очень испугался длинноногий, весь в звездочках, маленький жеребенок... Так испугался, что побежал к матери, но от страха он ничего не видел и потому бежал не к матери, а вовсе в противоположную сторону, и старая красная лошадь с мягким ржанием позвала его к себе...





## ТОГДА, ЗИМОЮ

**В** этом селе ни одна дверь не сидела в своей раме так ладно. Плотная дубовая дверь; отец мой как надел ее лет десять — пятнадцать назад, так она и сидела в раме как литая. Но по единому, почти незаметному стыку двери и рамы холод проставил ломкую кромку инея и крепким, гладким серым льдом обвел пару петель; немного погодя, когда мальчик с отцом толкнут дверь, чтобы выйти из дома, лед на обеих петлях с противным скрежетом разломается.

Мальчик по имени Армик Мнацаканян ждал, пока отец кончит отбирать гвозди. Печка еще не благоухала огнем и едой, несмелые язычки пламени изредка выглядывали из-за печной дверцы, стекла в окнах были заиндевелые, в комнате стояли сумерки. Опустившись

на колени против слабых отблесков печки, отец на ощупь выбирал гвозди из ящика, которые не очень гнутые были, бросал в карман кожанки. Мать заправляла постель и каждый раз видела, как отец бросал в карман гвоздь. По мнению матери, стоило пожалеть и гвозди и карман. Матери все хотелось сделать замечание, что гвозди раздерут-де карман, но она ничего не говорила. До войны, когда мальчик не доставал рукой до ящика, у отца там и впрямь было много гвоздей, но сейчас он их находил с трудом, и ему казалось: у него их никогда не было. И подростку, по имени Армик Мнацаканян, было стыдно вспомнить, что некогда он был ребенком и загубил отцовы гвозди. Сейчас эти гвозди можно было найти в разных сгнивших досках. Мальчик Армик держал молоток в руках и забивал гвозди всюду, куда без труда мог войти гвоздь.

На печке не еда была — собачья похлебка. Собаки у них не было: собаку волки задрали. Похлебка разогревалась для свиньи, она пока еще не разогрелась и ее еще не вынесли и не скормили свинье, кислый запах стоял по всей комнате. У подростка, по имени Армик Мнацаканян, волки отняли собаку. Он сам выбрал ее из щенков, остальных, ненужных, сам вместе с дедом закопал в землю, а эту вырастил, деля с ней поровну молоко. Он сам вместо деда наказал себе защищать ее от волков, потому что главное было — эту зиму одолеть, а будущей зимой собака уже постояла бы за себя. Собака стукнулась о дверь и тревожно завывала, мальчик выскочил из постели и увидел собаку еще живую — между хлевом и старой грушей, была даже такая минута, когда мальчик и собака оказались среди волков вместе, но потом мальчик стоял на снегу один, а за старой грушей на пустынном заснеженном холме вроде бы высоко прыгнула белая собака и тут же ее острый скулеж заглох между волками. Волки уходили поврозь, не стаяй, но собака не возвращалась. Мальчик осторожно, ужасаясь и удивляясь случившемуся, позвал собаку, но ее не было. Стоя под луной среди поблескивающих снегов, он еще раз позвал собаку, ему даже послышались мягкий бесшумный бег и знакомое дыхание, но нет, мальчику показалось. Под большой луной на чистых снегах мальчик не нашел даже капельки крови: прямо в воздухе, на лету они разодрали и слопали ее. Смешавшись, мальчик целую

вечность простоял там, где только что были волки и собака, в ушах — их мерзкая возня. Чуть позже пришла мать и встала в дверях хлева. Озираясь по сторонам, мальчик подошел к матери и потом, стоя рядом с нею в дверях хлева, долго смотрел на чистый белый холм. Волков он не испугался, волков вблизи он уже видел. Среди поблескивающих снегов он стоял неодетый и босой, но слово матери не было похвалой, нет — если бы мальчик так по-глупому не бросился к своре, собака бы тоже не кинулась туда, не кинулась бы и спаслась. Потом уже, дома, мать похвалила мальчика, но это так, чтобы мальчику не очень обидно было, а настоящее мнение матери было — упрек, которого мать больше не повторила, но в сердце мальчика это уже засело занозой.

Сестренка проснулась, села в постели и, никого и ничего еще не разбирая, поведала, что в ее маленьком девчоночьем сне пришел отец и поцеловал ее, но принести ничего не принес... Рассказывая, она увидела отца и удивилась:

— Вай, а ты во сне приходил к нам...

Отец выбирал гвозди перед печкой, радости в нем не было нисколько, но для девчушки он нашел что-то похожее на ласку.

— Во сне приходил, говоришь? — сказал он. — Во сне я взаправду приходил?

В их холодном, пропитанном свинячьим пойлом доме это была натужная ласка, но для того, чтобы обрадовать девчушку, этого оказалось вполне достаточно: с ракрасневшимися щечками, с блестящими глазками, она молча улыбалась, сидя в постели, потом сказала:

— Сколько ни увижу тебя во сне, столько ты и придешь?

Стоя на коленях перед печкой, отец замер от восторга.

— Сколько ни увидишь, — сказал он, — столько и приду.

Мать убирала их с отцом постель, застилала ее покрывалом, мать сказала:

— Сколько ни увидишь, столько и придет, но ты поменьше такие сны смотри.

— Я каждую ночь буду его видеть, — сказала девчушка, — всегда буду видеть, если не будет приходиться, глаза вот так закрою и увижу.

Девчушка натянула на плечи одеяло, закрыла глаза и покачнулась.

— Увидишь,— усмехнулась мать,— он придет, а они схватят и пошлют за другого работать. Чужой работе конца-краю нет.

— И такое может быть,— откликнулся отец.— Гвоздей не нахожу.

— Посмотри в золе,— сказала мать,— но годятся ли?

— Что гвозди в золе делают?

Мальчик возле двери весь сжался. Взмокнув от стыда, мальчик сжался не только потому, что в конечном счете это он закинул гвозди в печку: мать растапливала печку подгнившими балками и досками, и старые, еще в детские годы вколоченные туда гвозди выходили теперь на свет божий. Так-то оно так, но мальчик сжался в своем углу еще и для того, чтобы сестренка его не увидела. На мальчике по имени Армик Мнацаканян было домотканое платье, которое мать надевала, когда сама была девочкой и которое года через два должна была надеть девчушка. Девчушка знала, что ярко-красное платье должно перейти ей, и примеряла его время от времени. Для мальчика это было унижительное одеяние, но, когда мать почти силком впихивала мальчика в это платье, нельзя было громко, вслух возражать, потому что дети, братик и сестренка, проснулись бы и девчушка бы в отблесках печки увидела на мальчике свое будущее красное платье и огорчилась бы, ничего бы не сказала, но от горя заболела бы.

Единственное, что он мог сделать в знак протеста против девчачьего этого платья,— это то, что он свою веревку провел над правым плечом, потом под левой рукой, обмотал вокруг груди и стал как русский солдат, скатавший шинель в скатку.

Щеколду перед отцом отодвинул мальчик, и с морозной ночной улицы отец принес в дом свежий запах опилок. С минуту отец стоял в дверях среди семейного тепла, усталую, натруженную руку он положил, как погладил, на голову мальчику, от усталости он валился с ног, потом он поцеловал спящих детей, и девчушка сказала: «Ты что мне принес?» Увиденное девчушкой не было сном, но кто и когда углядел, что отец в селе, и кто и когда успел взвалить на отца работу — вот

это для мальчика было загадкой. Наверное, случайно увидели его проходящего по селу и вспомнили, что быки в горах выломали дверь хлева... Но мальчику казалось, что деревенские власти всю неделю стояли на тропинке к их дому и поджидали отца, чтобы сообщить ему, что хоть это и не по его части и хоть он и усталый до смерти, но быки в горах снесли ворота хлева.

Может, из жалости к отцу, а может, потому, что ему ничего не стоило крепкое, как сталь, дерево пригвоздить к крепким полозьям санок, мальчику казалось, что дверь он починит в минуту, это животноводы пускай думают, что они животноводы — и только, а чтобы гвоздь вбить, для этого особый человек нужен.

— Пошли.— Отец сказал это так, словно тут рядом, в двух шагах, надо было вбить гвозди, он торопливо поднялся, засунул ящик в шкаф и повторил: — Пошли-пошли,— потом нагнулся, поднял с земли и сунул под мышку связку веревок. Открывая дверь, отец задел плечом мальчика, он посмотрел на него, вспомнил, что это предстоящий его товарищ в пути, и жалко и с сомнением улыбнулся.

— Ну и уходи,— сказала мать.— Нам все равно: ничего ведь для нас не приносишь, когда приходишь.

Мать сказала это как бы от имени девчушки — в шутку, значит, но хоть и в шутку, хоть и с любовью, а лучше бы она этого не говорила. Порожний приход отца, пускай без ничего, без гостинцев, уже был большим подарком для мальчика. В этом селе, полном осиротевших детей, отец, навещавший их раз в семь дней, источающий усталость и аромат свежего дерева, отец наполнял сердце мальчика ни с чем не сравнимым счастьем и постоянным страхом потерять это счастье.

Холодный жесткий воздух ударил им в лицо, и перекинувший веревку через плечо, на манер русского солдата, мальчик в красном платье поежился и затрусил за отцом. Ему хотелось думать, что они с отцом мужчины-товарищи, но его шаг был короче отцова, и хотел он того или нет, он то гордо забегал вперед, то какое-то время с неприкрытой гордостью шел рядом с отцом, плечо в плечо, а то отставал и видел впереди широкую костистую отцову спину. Так его собака бежала с ним, когда мальчик впрягался в санки и шел за хвостом в лес.

Девчушка, прижавшись носом к стеклу, наверняка

увидела из окна красное платье, надетое на брата, и, конечно же, немного огорчилась... И, может, мальчик не потащит в этом платье сено, может, он снимет платье и принесет его домой под мышкой, и это станет утешением для девчушки, а пока ничего, пусть живет до вечера ее крохотная печаль птички.

Отец замедлил шаги и крикнул через плечо в сторону дома:

— Эй, ахчи!..

Из хлева доносился резкий визг свиньи. Коза, телок, корова — как они дают понять о своих тревогах и голоде? Голодны они, пить хотят или же больны — молча терпят, а свинья с раннего утра наполняла их мирное существование своим неустанным безобразным визгом. Не дожидаясь ответа из дома, отец прокричал:

— Дайте этой свинье ее пойло, пусть заткнется, ахчи, а то корову жалко! — И споткнулся, что ли, споткнулся, потом пошел быстрым шагом, заспешил.

И опять мальчик видел перед собой его широкую спину, топориче заткнутого за пояс топора и веревки под мышкой.

Этот выкрик насчет свиньи так и повис в воздухе. Ветер, а может, стужа подгоняли отца, согнувшись, он снова крикнул:

— Эй, ахчи!.. Дай поесть свинье.

От их крыши белый пар поднимался, огонь в печке не занялся еще, значит... печку разжигали хворостом мальчика... Мальчик любил трескучий огонь сухого дерева, еще мальчик любил зеленую мшистую бороду дров... Отец прокричал насчет свиньи, на печке разогревалось пойло... значит, ереванский обманщик еще не купил свинью, не приехал из своего Еревана и сверх цены не кинул, как милостыню, дряхлую кожанку, кожанка еще пришла в их дом, на ереванце еще была... Но что же тогда было на отце? Отец, нет, он не был раздетым среди этих снегов, когда сказал поверх плеча: «Эй, ахчи» — и как подстегнутый ускорил шаги, на отце что-то такое было, но что же? Солдатская шинель? Если пройти десять километров вдоль замерзшей речки, если вдоль речки к железной дороге спуститься, лесное хозяйство будет. Отец там десятником работал. Над дровосеками — пленными румынами. Война тогда только кончилась или даже еще не кончилась — на отце и впрямь могла быть солдатская

шинель. Не помню. Мальчик, да, мальчиком этим был я, но я уже так отошел, так отдалился от него, что мальчик этот для меня — существо отдельное, независимое.

Десятничество отца над пленными мать, бывало, высмеет или скажет с беззлой улыбкой: десятники, мол, вы. Но в душе она питала тайную надежду, что, получив ничтожную эту власть, ее работяга муж приохотится к должности... То есть не придет и не попадет у собственного порога прямо в лапы руководству, а, стоя на тропиночке, сам неделями будет выглядывать, поджидать какого-нибудь наивного простофилю-работника, чтобы немедля отправить его в горы чинить сломанные ворота... Но теперь я знаю, что напрасными были и злость этой женщины, и надежды ее: отец стеснялся попросить стакан воды у меня, собственного сына, этот человек сам был в плену у своих пленных, какое там — десятником. Бойкому обманщику ереванцу он не мог сказать, что свинью ему не продаст, — единственная эта свинья была единственным прокормом всем трем детям, начиная с лютовавшей, беспощадной этой зимы и до самой голодной весны, — он не сказал, что нам самим нужны и мясо, и сало, и кожа, и ножки, и голова хряка. Ереванскому рвачу он не мог сказать, что кожанку его в прошлом, может, даже комиссар какой из Чека носил, но сейчас кожанка старая, невозможно старая, прямо серая от старости. Сияющий, источающий улыбки торгош сказал: «Свиным салом намажешь — еще как заблестит».

Одна из дверей у Данеленцев скрипнула: кто-то, остановившись на тропинке, ведущей к уборной, смотрел в их сторону, и мальчик в своем красном девчоночьем платье спрятался за отца. До оврага, до того места, которое не проглядывалось от дома Данеленцев, мальчик шел плечо в плечо с отцом. В овражке от ручья, покрытого крепким, как камень, толстым льдом, тропинка поползла вверх, и мальчик был вынужден пропустить отца вперед, впрочем, прятаться уже было незачем: на всем белом склоне они были одни. Тропинка была дорожкой для санок, с бороздами от полозьев, основательно заледенелыми, мальчик свои дрова привозил по этой дорожке, мальчик любил думать, что это его железная дорога, он мог от самого леса пустить вниз груженые санки, и санки, не сбившись с

пути, скатились бы, но мальчик не делал этого, потому что вдруг бы на тропинке кто-нибудь был и потом, набрав скорость, санки с разбегу ударились бы внизу об лед и соскочили в овраг.

Отец ломал дорожку мальчика: снег под его тяжелыми шагами крошился, забивал борозды, завтра уже санки не пойдут так плавно. Но по обе стороны тропки снег был глубокий, по колена, и мальчик втайне радовался, что вот подарил отцу свою дорогу. Завтрашняя работа мальчика осложнялась. Отец сошел с заледенелой тропки и пошел по снегу. Замерзший снег проваливался, и ноги отца увязали в снегу. Легкий, совсем ничего не весивший мальчик обогнал отца и пошел по своей дорожке, ударяя каблуками по обледенелым бороздам, разбивая их и приглашая отца разбивать. Отец, может, улыбнулся, может, сказал с любовью «дурень», а может, и огорчился и выругал этот холодный, голодный и жестокий мир... Но немного погодя подчинился и снова ступил на мальчикову тропу, а мальчик, будто бы ему надо перевязать ремешок у постела, отстал от отца, пропустил его вперед, потому что нельзя же все время маячить перед его глазами и постыдно напоминать, что вот-де я — мальчик, а меня вырядили в девчачье платье.

На самом краю обрыва брат поставил капкан. Вернее, это он, мальчик, наладил капкан, но капкан был братов. Потому что это брат мечтал поймать волков на пятьсот рублей. Его худенькое тельце птенца не оставляло следов на дорожке мальчика, и казалось, капкан спущен с неба, божий капкан. К цепи брат прибавил зеленую веревку от постолов, еще какую-то тряпицу, кромку от какого-то платья и все это протянул-привязал к дубовой поросли. Будто бы волк поднимется по тропинке мальчика и прямо в капкан. Отец вытащил топор из-за пояса — «домашнюю тварь может покалечить» — и хотел было топорищем захлопнуть капкан, потом передумал — «откуда ей взяться — все подчищено».

— Это ты поставил? — спросил отец.

— Братик, — сказал мальчик. — Брат.

Глядя на Грайровы веревочки, отец засмеялся, как заплакал. Овраг кончился, они вышли к яру. Перед тем как начать восхождение, отец оглянулся на село, и мальчик тоже посмотрел. Безмолвное, словно вымершее

село; казалось, и дыма нигде нет. Мальчик увидел, как заходил кадык на шее отца. Сорок восемь парней не вернулись с передовой, сорок восемь косарей, погонщиков, пастухов, учителей, пахарей — целый звонкий хор. Отец произнес свое брезгливое «айеэ!» — то есть он не понимает, что за такая злая воля была.

— Несчастные,— сказал отец и сплюнул,— еще несчастнее нас... Немая скотина с завязанным ртом.

Это, может, во всем застуженном, заледенелом мире было, может, только о пленных, которые были такими же несчастными, как мы, или даже еще несчастнее, но ведь это из-за них мир был такой погасший. Отец ничего о них не рассказывал, поскольку отец не понимал по-румынски, пленные — по-армянски, и отец и пленные вместе — по-русски. А то, что без слов происходило, было отвратительно — пленные всю зиму ели картошку и становились белыми, как бумага, весной они набрасывались на траву и делались зелеными, как эта самая трава. Румыны забыли свое русское «руки вверх», отец забыл немецкое «хенде хох», сейчас отец и пленные румыны в десяти километрах от села рубили лес, чтобы с весенним паводком погнать его по реке к железной дороге — они работали, и между ними не было ненависти, поскольку даже для ненависти требуются силы. Они истребляли вековой лес в том месте, где должен быть дом Ованеса Туманяна. Они крошили туманяновский мир добра и любви и не понимали, что заняты некрасивым делом, у них не было сил понять это — они еле существовали.

На всем взгорке сверху донизу лежал нетронутый, отдающий синевой снег, только саночный путь мальчика спускался по нему отлого. Таким прямым еще был железнодорожный путь Петербург — Москва. Русский царь положил линейку на карту и начертил свою железную дорогу, и русские крепостные легли и на себе провели-проложили через болота эту прямую железную дорогу царя. А в мальчиковой дороге и крепостным и царем был сам мальчик. Когда мальчик во второй раз вынужден был бросить санки и убежать в лес, санки, набрав скорость на повороте, слетели в омут, тот, что справа. Омут не очень глубокий был, но, как могильная яма, начинался сразу, и когда маль-

чик по одному побросал из него свои дровишки и хотел уже сам выбраться, омут его не пускал, мальчик тогда пришел домой только к ночи. Козла дяди Шаварша волки в этой яме слопали: окружили, спихнули в омут и там задушили и загрызли, а на воле они бы и хвоста бы его не увидели — длинномордого, почти что дикого, черного козла.

Между омутом и дорожкой мальчик устроил снежный заслон. Но он не очень был уверен, что заслон выдержит, если он на санках с размаху стукнется об него, и на этом повороте он всегда немножечко побаивался, а потом, проскочив, тайком улыбался про себя.

Отец заметил заслон, посмотрел поверх него на омут — наверное, увидел сухие щепки и следы мальчика, и снова у него вырвалось это его «айеэ» — «айеэээ...».

— Ты что же, в яму угодил? — запоздало перепугался он.

— Нет, салазки просто упустил.

— А не сам упал?

Мальчик говорил неправду, он не упустил санки, он их бросил, санки бросил, а сам бежал в лес.

— Очень мучаешься? Трудно тебе?

— Трудно? — удивился мальчик. — Нагружаю — сами идут.

Отец снова занервничал:

— Айеэ, лошадь, что ли, грузишь — сами идут?

Слова в нашем сознании имеют свой особый облик. Яблоко, например, когда у тебя жар и сознание твое замутилось и красивая отцова сестра, тетка твоя, бормоча, целует твой лоб и кладет в твою руку холодное, сморщенное, как ее щека, яблоко — и ты только через два дня замечаешь, что за пазуху тебе закатилось яблоко. Слово «мучиться» относилось, по мнению мальчика, к взрослым, к их работе, а дети, их лишения и их посильная доля в работе — это мучением не было.

— Вот дядя Ашхарбек, тот промучался, — сказал мальчик. — С Медовой Груши скатил бревно, до самого низу бревно хорошо летело, а внизу — заело, волю сколько ни тянули — не вылезало. Потом ярмо сломалось, дядюшка тогда дерево срубил, приспособил... Волам неудобно, пятятся, а дядюшке самому холодно,

дует на пальцы и на волов кричит... Когда дядюшка дерево рубил, с Каранцева холма на него лесник все время смотрел. Дядюшка ему: «Иди, иди, говорит, как подойдешь, так и запрягу». А тот все стоит и смотрит и не подходит.

— А почему Ашхарбек через нас поехал? — спросил отец. — Почему по низу не поехал хорошей дорогой?

— Не знаю, — сказал мальчик, — он от Медовой Груши бревно отпустил, через нас хотел везти. Цепь старая была, все время обрывалась, ярмо сломалось, волы не шли. Я уже хворосту набрал, вернулся, а он все бился с ними.

— Бревно это, не иначе, мы вместе срубили, до войны еще, — припомнил отец, — косить собрались, ребят в лесу поджидали, вырывая друг у друга топор, играючи срубили, обтесали, выволокли на дорогу, ребята пришли, видят — а мы на обтесанном бревне сидим, их ждем... — Отец вздохнул. — Унес, значит.

— Наши думали, нам бревно везет — председатель, думали, приказал, мама растерялась и все смотрела, чем бы его угостить-накормить... и волам его решили сена дать... А он через нас и увез.

— Ничего, — сказал отец, — увез так увез. Мучался, значит. Сейчас столько их, которые под землей и не мучаются, столько их, кто хотел бы мучаться и выбиваться из сил, но быть, живым быть...

— Я потом пошел посмотрел, — сказал мальчик, и ему стало неловко: в мире столько горя и страдания, а он все о себе, о том, как он пошел да посмотрел. — На нижней дороге вода замерзла, бревно бы в овраг вместе с волами скатилось, крепкий такой лед, бугром, птица встанет — соскользнет... И потом...

— Что потом?

— Бревно большое было, до Медовой Груши волы неровно тащили, петляли.

— Ну ладно, — сказал отец, — бревно унес, великое дело.

— Я не про бревно думаю, волы намучались.

— А ты? — сказал отец. — Ты не мучаешься, не устаешь разве?

— Я тогда санки взял, в лес пошел. А обратно иду, вижу, наш Грайр стоит возле волов и кричит с ними вместе, дядюшка кричит на волов, а он весь сжимается,

напрягается. До самой ночи проторчал, мама звала его, а он не отзывался.

— И то помощь,— сказал отец.— Уроки у тебя как идут?

— Два-три здоровых кола нужны были и два-три человека, чтобы бревно поддеть. Дядюшка тужился один и все смотрел через плечо, кого бы на помощь позвать, но никого кругом не было, только на Каранцевом холме лесник стоит и смотрит.

Отец усмехнулся:

— А Пыльный дед? Не помог?

— У них корова в овраг свалилась, сколько женщин набежало — и кричали, и ругались, и веревками тащили.

— Это когда же дело было?

— Я тогда еще маленький был,— сказал мальчик.

Отец улыбнулся:

— А сейчас большой?

Мальчик и теперь был маленький, но тогда, в то время, он был совсем маленьким. При желтом, болезненном, можно сказать, несуществующем свете фонаря женщины суетились и проклинали Пыльного деда, а заодно и Гитлера. Внизу, ниже ручья, была топь, корову затягивало, а повыше ручья крутой обрыв был, женщины забросили веревки и тащили корову вверх; смешанная со снегом земля уходила из-под ног, и женщины чертыхались и проклинали и Гитлера, и корову, и Пыльного деда: «Не можешь ведра воды себе принести! Тощая, на сносях корова свалилась из-за тебя в овраг, чертов дед...» Потом из села пришли, велели погасить фонарь и замолчать: над селом самолет кружил. Примолкшие женщины набросили на корову ковер и стали ждать; они ждут, а корова торчит в топи. Они говорили: «Чтоб снаряд у тебя в животе разорвался, Гитлер!» Говорили: «Ох, Пыльный ты дед, чтобы еще один снаряд да в твой живот!» И смеялись от собственного бессилия. Фонарь был в руках матери. Мать не хотела подчиняться и только прикрутила фитиль. На нее шепотом цыкнули, мать погасила фонарь и какое-то проклятье выкрикнула, но ей сказали: «А ну, чтоб твоего голоса!» — и была тьма полная, и во тьме — гул самолета, а через этот гул — смиренный стон коровы.



— Тот вол, у которого рога вверх и назад, большие такие,— сказал мальчик,— тот, что серый и смирный, этот вол нашим теленком был?

Отец помедлил, подумал и сказал:

— Зачем тебе?

— Когда дядюшка запряг их и мучался, один из волов этот был. Он сильнее другого был, давил на того, прямо под бревно его загонял.

— Тебе год был, когда его взяли,— сказал отец,— ты же его не помнишь.

— На нашу корову похож,— сказал мальчик.— Мама говорит, наш теленок был.

— Старший брат нашей коровы,— сказал отец.— Кончай давай,— рассердился он.— «Наше, наше»! Ничего тут не наше.

— Еще про одно спрошу... Лесник тогда стоял на Каранцевом холме и смотрел, а подойти не подходил, стоял и смотрел. Дядюшка сказал ему: «Только подойдешь — запрягу». У нас что, нет права сухое полено из лесу взять?

— Сухое полено, говоришь? А что Ашхарбек для ярма срубил? Тоже сухое полено? А бревно колом поддевал, для кола тоже дерево, значит, срубил, ну?

Они вышли на взгорок, дальше мальчикова дорожка смешивалась с большой дорогой, ведущей в горы. Земля на этом месте всегда чистая от снега была: чтобы провезти здесь санки, мальчик каждый раз насыпал это место снегом, но сегодня тут опять была голая земля: желтый скрипучий песчаник втянул в себя весь снег, под этим буком всегда — даже когда кора на деревьях от мороза трескалась,— всегда там сохранялось какое-то тепло, сколько дыхания у грудного младенца, вот сколько там тепла всегда сохранялось, и мальчик, проведя санки, всегда останавливался здесь и улыбался. Обычно это место мальчик так переходил: оставлял санки наверху, у зарослей одинокого граба, набирал снегу и насыпал это место и еще набирал и насыпал, потом шел, становился у граба за санками, плевал на ладони и нацеливался до того вон места и с криком: «Вперед на Германию, марш!» — с размаху проскакивал опасное место. Санки он останавливал над самым спуском, слезал, возвращался, становился под буком среди кажущейся или

на самом деле существующей теплоты и улыбался.

— Мучаешься тут,— отец швырнул ногой снега на голую землю.— Не убило меня, и вроде бы вернулся, а тебя мучаю.— И он снова швырнул ногой снега на голую землю.

— Не держится,— сказал мальчик,— тает.

— Возвращайся,— рассердился отец,— нечего тебе из сил выбиваться, ступай домой.

Мальчик сделал вид, что не слышит.

— Пока изгородь жгите,— сказал отец,— за хворостом больше не ходи.

— Лес рядом, стыдно, чтобы изгородь жгли.

— Что тебя мучаю — это стыдно, а изгородь жечь совсем не стыдно.

Но как было мальчику сказать, что хоть он и мучается немного, верно, но то, что отец раз в неделю приходит домой, мучения эти стоят того. Приходил отец, и мальчика словно обдавали изнутри и снаружи ласковой, теплой, шелковой водой, и в согретой печкой комнате мальчик непрерывно чувствовал надежное присутствие отца, читал книгу и чувствовал, что отец дома, думал об Ованесе Туманяне и чувствовал, что думает об этом в присутствии отца. В понедельник утром мальчик взглядывал на постель отца с тайной надеждой, что он не ушел, что здесь еще, но каждый раз с тяжелой тревогой видел, что постель пуста. Как собака, мальчик всюду улавливал его запах. Хворост мальчик ради него таскал из лесу — ради одного-единственного праздничного воскресенья. А каково было Айку, Овику, Норику, Жорику, чьи отцы ни разу не приходили и никогда не могли уже прийти. Лаврик и Юрик, Альберт, Альфон, Гильберт... Беспризорные, без мужчин дома — мимо этих домов отец проходил с неловкостью. Потому, наверное, он приходил домой по ночам.

— В России,— сказал отец,— лыжи, я слышал, воском натирают. Снизу.

Отец ударил каблуком по льду. Лед не разбился, он еще несколько раз ударил, потом достал топор и тупой стороной разбил, а потом и лезвием обтесал и разровнял этот бугорок, где санки всегда встряхивало, чуть не сбрасывало с дороги. Сам мальчик ни за что бы не стал отцовским топором рубить лед, потому что вдруг бы топор напоролся на камень.

Правда, мальчик уже умел наточить топор, но все равно не стал бы.

— Можно, значит, и салазки натереть воском,— сказал отец,— легче идти будут.

— Ничего,— сказал мальчик,— я твоим рубанком провел несколько раз, они теперь как навощенные, вырвутся из рук — и не поймаешь. И потом,— сказал мальчик,— воска нет. Весь воск, и наш и ихний, бабушка собрала, сделала свечи, пошла в часовне зажгла. Дед бога побоялся, ругаться из-за воска не стал, а мама не побоялась,— мальчик улыбнулся.— Мама еще как раскричалась, а бабушка молилась и говорила богу: «Боже милостивый, не сердись на нее, это она так, пошуметь любит, а сердцем чистая... Вот сын мой вернется,— бабушка говорила,— и воск у нас будет, и мед, и хлеб... Как улей, как целый улей будет работать мой сын».

Отец грустно улыбнулся:

— Вот я и вернулся. Вернулся,— повторил отец.— Вернулся, но ни для кого меня нету, ни для вас, ни для братовых детей беспризорных, ни для отца-матери своих... Как они там,— спросил отец,— живут?

Мальчик рассказал.

— Когда издали смотришь, изгородь вроде бы целая, но они все мелкие сучья повытаскивали, сожгли... кору, сухие ветки с яблони, картофельную ботву сухую... Огонь слабый-слабый,— сказал мальчик,— колени у деда согреются разве. Дед мерзнет всегда.

— Кровь медленная стала в нем.— О старом отце и старухе матери отец, казалось, больше не думал, но, когда он снова заговорил, мальчик понял, что старый дом деда с бабкой — отдельная большая забота для отца.— Что же мне делать? — сказал отец.— Закон есть, по закону, если родители старые и за ними присматривать нужно... хворост им, воду... заболели они или что... нет такого права, чтобы их кормилец, чтоб того, кто за ними смотрит, забирали в армию, мой младший брат по закону не в армии сейчас должен был быть, здесь... Но мои мать-отец постеснялись. Постеснялись, что другие по два человека в войну потеряли, что среди этого горя они счастливые живут... Услали,— сказал отец,— моего младшего брата услали подалее, чтобы не мозолил глаза селу, мои мать-отец побоялись своего большого счастья.

...Мальчик всегда упрашивал бабушку научить его молиться, но бабушка каждый раз делала вид, что не слышит. Мальчик все же верил, что за бормотанием бабушки есть какой-то другой мир, которого он, мальчик, не видит, поскольку не знает бабушкиных колдовских слов, чтобы открыть тайную дверь. Дед каждый раз слабо, как помаргивает огонек в их лампе, вот так слабо улыбался и говорил, что школьнику не полагается молиться. Когда мальчик заболел и тихая ласковая сестра отца принесла яблоко, бабушка тоже пришла — молиться, чтоб он выздоровел. Мальчик с закрытыми глазами прислушался: это были воспоминания о солнце, о ягнятах, о голосах в поле, о фруктах и цветах, а может, бабушка уже в будущем видела-различала эти звонкие голоса, этот густой пасечный аромат, бабушка долго так бормотала и только в самом конце пообещала рукой своего сына и мальчику отца починить сломанную дверь часовни, аминь: «С-с-с-с», — слышалось мальчику. Но об этом отцу мальчик не стал рассказывать, а то получилось, что всем — начиная с горных зимовий и до самого нижнего края села — отец что-то да должен. Мальчик спросил:

— Пленных когда отпустят, чтоб вернулись к себе домой?

— Я? — сказал отец. — Я должен отпустить? Когда Москва прикажет.

— Или не отпустите?.. Потому что пленные?

— Не знаю, — сказал отец. — Москва прикажет.

— Лес Туманяна рубят, — сказал мальчик. — Москва знает, что лес Туманяна рубят?

— Москва все знает, — сказал отец, — но лес не Туманяна. Туманян еще когда умер.

— Ованес Туманян умер в тысяча девятьсот двадцать третьем году, знаю, — сказал мальчик, — я не про это.

— Слушаю, — сказал отец.

— А может быть такое, — сказал мальчик, — что наши пленные в Германии, а их не отпускают...

Отец не ответил. Отец молчал, и мальчик подумал, что отец не понял его.

— Румыны здесь пленные, верно? — начал мальчик. — А наши деревенские там, в ихних лесах...

— Не знаю, — сказал отец, — не знаю я, не в курсе...

Не знаю,— рассердился отец,— мучались, выбивались из сил, верно, но хоть каждый своим делом мучался... А теперь что? Ступай домой,— сказал отец,— домой иди.

Как далекое землетрясение, гудел ветер, но деревья в зимнем сером лесу не раскачивались или же раскачивались, но это было не видно. Повыше лесов тянулись голые безжизненные горы. Снег на их гребнях отдавал слабым красным, а склоны были льдисто-синие. Лес был таким же мертвым, как горы, но рядом с молчаливой твердью гор лес казался теплым и добрым созданием. Не верилось, что за лесом, за мертвыми пределами гор есть живой человеческий очаг, надежный стог сена, что жаркие тяжелые быки ломают там ворота, а женщины, как девушки, пугливо жмутся друг к другу и посылают весть о том, что быки разнесли ворота... И, несмотря на то, что мальчик сам вилами сено подбирал и потом с матерью метал стог, не верилось, никак не верилось, что эти горы были когда-то зелеными и узкая и легкая коса звенела в руках отца, что под снегом живет трава, молоденькая пахучая зеленая травка. Но ведь только в этот единственный раз отец полностью, безраздельно принадлежал мальчику, один-единственный раз за долгую, двенадцатилетнюю жизнь мальчика, и мальчик ни за что бы не согласился лишиться того, чтобы идти рядом с ним и, отстав, бежать за ним, как собачка.

Большая колхозная скирда на той стороне горы, возле хлебов зимовья, и мальчиков стожок на этой стороне горы, пониже Синего родника, были поставлены осенью в один и тот же день... С вилами, с граблями, с веревками, закинутыми за спину, женщины задержали шаг возле мальчикова дома и подождали его мать. Мать в одну минуту сделалась больной и старой, села на трухлявый пенёк и сказала, что она им не мул. Тетка Искун изловчилась, протянула поверх изгороди вилы к единственному яблоку на их яблоне и сказала: «Чтоб тебе сдохнуть, а мы, что ли, твои мулы?!» Потом по дороге они набивали мешки и подолы кислыми-прекислыми яблоками-дичками, и прямо-таки странно было чувствовать их жажду. Мать сказала: «Если я мужняя жена, почему, как вы, без-



мужние, должна сено на себе тащить?» В это время на Каранцевом холме возникло обличье Ориорд Уцьюн<sup>1</sup>. Ориорд Уцьюн была директором школы и преподавала арифметику, но держала в руках и наставляла все село. Председатель боялся ругаться с женщинами и сложные случаи поручал Ориорд Уцьюн. Как прилежные ученицы, с граблями и вилами за плечами, женщины смиренно пустились в путь.

Тетка Тамар свою картошку и сыр положила в материн мешок: «Не показывай мне, а то есть захочу». Женщины смеялись: «Держи крепче Тамарин харч». «То вовсе не шла, а то и ребенка с собой привела», — сказали женщины матери. Мать их обманула: «Мое дитя не хочет, чтобы его мать мулом была, наравне со мной будет работать». Женщины сказали: «Чтоб твою счастливую головушку». С пересохшим ртом, с потрескавшимися сухими губами, они оглядели-обследовали дикую яблоньку, и мальчик забрался на нее, а женщины с визгом разбежались, мальчик основательно разгрузил дерево, сплошной яблочный покров на земле образовался, но пока мальчик спускался, придерживая распоротые штаны, под деревом ни единого яблочка не осталось — как подмели.

Пониже Синего родника, улыбаясь сквозь слезы, женщины — то ли в шутку, то ли вправду — проклинали силу того косаря, который тут был, косил траву, а сейчас отсутствует, но женщины чувствовали, что он здесь. «И-и-и, — сказали женщины, — чтоб молния да в твою спину ударила, это кто же у нас такой сердцеед!» Мол, чтобы самим ударить этого косаря, моего отца то есть, их руки для этого слабы. Губы матери беззвучно шевелились, мать тайком улыбалась про себя, она не знала, ответить им что-нибудь или же молчать и радоваться, что муж, хоть и не дома, но все же есть — десятничает за десятки километров от села над пленными, и хоть и десятничает, хоть и на службе, а все же сумел потихоньку отлучиться на два часа, скосить траву.

В овражке с родником мальчик отстал. Отстал и из овражка не вышел, пока голоса женщин не стихли вдали. Здесь близко, не доходя до леса, были старые

---

<sup>1</sup> О р и о р д — барышня, у ц ь ю н — суффикс и окончание слова «твабануцьюн» (арифметика).

хлева Мнацаканянов, которые колхоз в свое время отобрал. Сейчас они стояли заброшенные, пустовали. Овец с некоторых пор гнали на зимовку в долину Кры. Пониже старых хлевов, почти что в лесу, на каменистом склоне были покосы мальчикова деда Аветика, а на Большой поляне на лесистой горе Чрагат — старые хлева и покосы другого деда, Арутюна. Все, все было заброшено и пустовало, нигде не было видно ни одной работающей косы. Только здесь, под Синим ключом, два часа трудился отец мальчика.

Когда он сюда приходил, мальчику было невдомек. Наверное, ночью пришел домой, постоял с минутку у изголовья спящих детишек; твердый щетинистый его подбородок, наверное, нашел худую щеку мальчика, потом заставил себя через силу — вышел из дому и напрямик сюда. К пленным он, наверное, вернулся ночью, потому что не пойдет же он размахивать косой среди бела дня, это было бы просто бесстыдство — встать живым-здоровым на виду у этого осиротелого села: вот, мол, дескать, я, глядите, хожу, дышу, размахиваю косой. Нет-нет.

В то утро девчушка раньше мальчика почувствовала, что отец ночью приходил, мать, улыбнувшись, погладила ее по голове и обманула, что это ей во сне приснилось такое. Но на следующий день мать вынуждена была сказать мальчику, что в горах у них сено есть и они с мальчиком должны убрать его, пока не пересохло.

Земля здесь вся была — как будто ее подскребли, отец косил под корень, мальчик почувствовал присутствие его силы. Это была работа не на одну ночь и не для одного человека, но мать, когда возвращалась с мальчиком домой, заплакала и сказала, что отец скосил все один, в одну ночь. Пониже покосов мальчик нашел запряганные в траву косу и брусок. Дубовая рукоять косы отполировалась в ладони отца, стала гладкая, как кожа. Сама коса сточилась, не шире пальца была, брусок тоже износившийся, как карандаш, — в руках отца брусок с косой ночь поедом ели, глодали друг друга. Звонкий холодный Синий ключ не так уж далеко, но, чтобы не ходить туда каждый раз, отец там, где топь была, с края покосов, вырыл ямку поглубже и то и дело припадал и высасывал эту мутную теплую жижу.

Где граблями, а где и голыми руками мальчик собрал сено в одно место и даже связал его в стог, но, чтобы стог был настоящим, нужны были вилы, мать на обратном пути должна была с вилами прийти сюда. Мальчик потом набрел на старые, о двух зубьях, вилы, и ему стало стыдно, как это он не додумался пойти и срубить в лесу такую длинную рогатину. С отцовым брусом за поясом, с отцовской косой в руках, мальчик попробовал было покосить, коса бежала поверх травы, мальчику удалось срезать несколько пучков травы, но рядом с отцовой чистой работой это было уродство, и мальчик поскорее ушел отсюда и попытался косить в другом месте, но густая, какая-то маслянистая и скользкая трава не поддавалась.

Мать запаздывала. Мальчик поднялся на гору — на той стороне по всей горной долине двигались стожки, возле хлева с красной черепичной крышей стояла наполовину сложенная скирда, на скирде орудовали два маленьких, с муравьев, человека, в одном только месте сено на волах везли, но то ли от дальности, то ли еще от чего поклада на волах не больше тех вязанок казалась, тех, что женщины на себе тащили. Огромный муравейник, большая долина, на дне которой молча кряхтели, молча проклинали судьбу, молча выбивались из сил женщины. Из села поверх безмолвных лесов донесся было голос школьного звонка, а за горой, на дне молчаливой долины, женщины, притороченные веревками к грузу, чтобы груз от них не убежал и чтобы они от груза не убежали, еще ненамного приблизились к скирде, и рядом с их муками школа, чистота ногтей, красные чернила, грамматика, хитроумные задачки по арифметике и беззаботные стихи — все в это мгновение являло собой просто глупость, большую и стыдную, бессовестную глупость.

На обратном пути, ночь уж была, мать бесшумно отделилась от примолкших женщин. Мать пришла, а мальчик без вил, где руками, а где граблями почти все сено уже собрал и даже, можно сказать, в стог сложил. Они быстро управились со стожком и молча вернулись в село.

Трудно было представить, что неуклюжая неторопкая работа этих женщин обратится потом теплым живым очагом — далеким зимовьем, где жаркие тяжелые

быки разносят ворота в щепки и доярки смотрят на это не то со страхом, не то восхищенно любуясь.

То ли мужской, то ли женский крик раздался, мальчик прислушался и различил шум убегающей телеги. Крик повторился, но крик был уже не отчаявшийся, даже не злой, а так, для виду, словно понарошке. Отец усмехнулся:

— А говорят, мужчин нет... на весь лес верещит.

Через густые заросли на взгорке они увидели какое-то движение, потом человек и телега резко повернули и покатали к отцу и мальчику. Погонщик бежал впереди волов, телега ровно преследовала его, он бежал, и завязки его ушанки смешно подпрыгивали. Мальчику показалось, он увидел испуганные, как у шута, глаза, погонщик боялся, наверное, поскользнуться и угодить под колеса, с прутом в руках он убежал и на бегу выкрикивал: «Циран!.. Циран!»<sup>1</sup>

На летнем горячем солнце в зеленых лугах один из этих волов, может, и был такого желтого, золотистого цвета, кто знает, но сейчас они оба были серые, выключенные, обросшие свалывшейся шерстью; громадные их животы болтались со стороны в сторону, они не могли сдержать свой бег, не могли остановиться.

— Тише, айта, под себя их подомнешь! — усмехнулся отец.

Погонщик промчался между отцом и сыном, отец бросился волам наперерез и крикнул. Слово заговоренные, волы раскорячились и остановились. Мальчик потом мог сказать, что дорогу волам перекрыл он, он и отец, они с отцом перекрыли волам дорогу.

Погонщик виновато улыбался, словно его, мужчину, уличили в недостойной мальчишеской игре. Он сказал:

— Не подкованы, проклятые, не могут удержаться.

— А ты? — сказал отец. — Ты тоже неподкованный?

Погонщик кончиком прута сдвинул на затылок солдатскую ушанку и радостно поздоровался:

— Добрый день вам!

Один из волов хрипел, кашлял, давился и снова хрипел, в ярме доставало доски, и волы были

---

<sup>1</sup> Ц и р а н — абрикос.

неправильно запряжены, тому, что хрипел, особенно было неудобно.

Погонщик сунул пустой рукав шинели в карман, концом прута снова сдвинул ушанку на затылок, и его по-девичьи румяное и мягкое лицо засветилось каким-то бессмысленным и виноватым восторгом. Красная эта радость была, возможно, от того, что погонщик так по-ребячьи убегал от телеги, а может, он всегда такой был, но в присутствии смуглого, жилистого, с жесткой щетиной на лице — у отца даже голос словно жилистый был, — в присутствии этого человека погонщик производил впечатление женщины.

— Нас тут беспризорными оставил, — сказал погонщик, — для города лес рубишь.

Так могла сказать женщина, и это было полное его поражение, мальчику вместо него сделалось неловко, он украдкой посмотрел на него через плечо: и все же он был мужчина, во всяком случае, растительность на лице, хоть и редкая, но есть, опять же рукав шинели пуст, на фронте, значит, был, потом мальчик бросил мимолетный взгляд на отца — лицо его исказилось неприятной гримасой.

— Айта, взрослый ты человек, — и голос отца зазвенел, — из-за одной двери вызываете меня в такую даль.

Все еще улыбаясь, погонщик сказал:

— Обижаясь?

Отец сказал — словно одним ударом гвоздь вогнал:

— А что же мне делать?

Радость с лица погонщика слетела, и само лицо как-то меньше сделалось, рот округлился, сжался, поместился ровно под носом, ни дать ни взять обиженный ребенок, вот-вот расплачется, но он сказал:

— Еще и обижается на несчастных женщин. Ты что, не видишь, мужиков не осталось, одни бабы кругом.

Отец в это время смотрел на волов, и слова его были как удар в спину:

— А ты что, тоже баба?

Мальчик потупился.

— А что я, без руки ведь, — слышалась безнадежная жалоба погонщика, — я не то что баба, а похуже даже, что во мне мужского?

Пустой его рукав отца не разжалобил.

— А то раньше горами ворочал.

Но разве можно было так? Топтать с жалким настоящим человека заодно и его прошлое?

Отец сошел с дороги, мальчику показалось, они уже дают телеге проехать, мальчик хотел сказать отцу про ярмо, что вол задыхается, но отец достал из-за пояса топор, значит, отец видел убогую и жестокую эту упряжку и уже заметил единственный молодой ствол граба. Одним легким ударом искоса, даже звука не слышно было (мальчик со стыдом вспомнил, как он сам орудует топором), короткий только хруст раздался, и сразу видна стала сила отца, его мощь и сноровка, отец срубил молодой граб, и срубленный граб остался стоять рядом со своим стволом... одним ударом и с такого места срубил, что один конец уже был готов, а когда он успел смастерить другой конец, мальчик даже не увидел: держа топор наподобие ножа, отделяя от ствола мелкие сучья, отец вышел из снегов. Пришел, потопал ногами, сунул топор за пояс и раздраженно, ни к кому не обращаясь и ни на кого не глядя, словно рядом никого и не было, ни виноватых, ни вообще кого-нибудь, с гримасой на лице, одними пальцами развязал мертвый узел, который мог задушить вола, а ведь этот однорукий не развязал бы его до самого села. Мальчик увидел под горлом у вола большой палец отца и твердый крепкий ноготь на этом пальце (а мальчик свои ногти всегда обгрызал). Теперь ярмо сидело как надо, вол был запряжен плотно и свободно, и отец гладил вола по глазам. Погонщик забыл уже про свою ребячью обиду и смотрел на отца с прежней преданностью и восторгом... но разве можно взвалить свое дело на другого и вместе с этим давать ему право оскорблять тебя?.. Нельзя было разве, хоть одной рукой, хоть зубами раскрыть нож и самому отрезать и обстругать деревце, а потом и приладить его к ярму, пусть даже одной рукой, да, одной рукой и зубами.

— Чья дочка будешь? — спросил погонщик мальчика.

Из бывшего материного и будущего сестриного платья мальчик посмотрел на погонщика с острой ненавистью.

— Ребенка чего тащишь в горы, в стужу самую? — сказал погонщик. — В нем и так духу никакого.

— Возьми его с собой, — сказал отец. — Ступай об-

ратно, Армик, с ним вот вернешься в село.— Отец посторонился, чтобы телега могла проехать, и положил тяжелую ладонь волю на спину.— Иди уроки учи.

— А я вот,— сказал погонщик,— подковать их ве-  
ду и соли, обратно поеду, прихвачу, каменная соль нам  
нужна, для скотины.

— Доброго пути тебе,— повернувшись лицом к зи-  
мовью и уже уходя, сказал отец.— Иди, Армик, иди  
домой, замерзнешь, простынешь в горах.

— Идем, парень, идем со мной... повезу тебя на  
телеге,— крикнул однорукий,— в красное платье выря-  
дили, я и подумал, что девочка.

Если у тебя сломался ноготь, и зубами за него не  
ухватиться, и лезвие топора не берет, и среди всех  
неудобств этого мира еще больше даже, чем намокшие  
и обледеневшие на студенном вечернем ветру штанины,  
тебя мучает и до слез мешает этот сломанный ноготь,  
ты достаешь свой нож и готов вместе с ногтем отхва-  
тить весь ненавистный, проклятый палец. А нож не  
раскрывается, и твои замерзшие пальцы не слушаются  
тебя, и ты достаешь лезвие зубами... Губы твои сжи-  
мают металл, и от холодного привкуса стали твои  
жилы мгновенно затвердевают. И вот ты стоишь по-  
среди снегов, холодные заледенелые штанины от твоих  
движений стучаются друг об друга, и ты, словно прут,  
строгаешь-отрезаешь ноготь, и под твоей детской, худ-  
дой, серой и сухой кожей — натянутые туго жилы  
мужчины.

У подростка по имени Армик Мнацаканян была  
бесшумная поступь и беззвучное дыхание, и если даже  
и было немного шума от того, как он ходил и дышал,  
отец бы все равно не почувствовал, потому что легкое  
свое тело мальчик старался нести в ногу с отцом. Но  
отец заговорил не оглянувшись, не проверив, здесь ли  
мальчик, словно в присутствии сына был так же уве-  
рен, как в своем собственном. Отец, значит, что-то  
такое об одноруком рассказывал... рассказывал, что  
однорукий всегда был таким, всегда на готовенькое  
шел... что десяти-двенадцатилетним, взрослым парнем  
уже был, пошел на пахоту в Длинные земли, и вот он  
сидел на спине у упряжного, и кто-то в это время  
сказал: «Что это за женщина на лошади в горы

едет?..» Дорога в горы с Длинных земель хорошо просматривалась, кто-то сказал: «Интересно, кто это в горы собрался?..» Просматриваться-то просматривалась, но ведь далеко как, так нет же, разглядел, узнал во всаднице мать... десять лет было мальчишке, еще грудь материну сосал... с вола спрыгнул и короткой дорогой, прямиком, прямиком, раз-два, раз-два, выскочил матери наперерез... и в шутку ли, всерьез ли, но заставил мать слезть с лошади и дать ему грудь, которая, по его мнению, была его собственностью, поскольку младший в доме был он...

Это была старая веселая история — рыжая дорога в горы, и зеленое приволье, и красная всадница, направляющаяся в горы, и прохлада, волнами ударяющаяся об взмыленное темное брюхо лошади... потом она должна была удариться об смущенный ворот бедной той матери... ну да, народ на пашне натравил его, как собаку, выпустил на рыжую дорогу и теперь стоит потешается...

— А после, — продолжал отец, — смотрят — оказался в конце пашни, идет, лениво покачивается, пахарь ему сказал: поспи, парень, ложись, поспи — младенцы ведь, откушав молочка, засыпают... и все пахари, весь народ на пашне сказал: ложись, парень, спи...

И отец с сыном засмеялись, да так, что однорукий, наверное, услышал, остановил волов и прислушался, узнал свою старую, веселую и грустную историю.

Но подросток по имени Армик Мнацаканян, посмеиваясь с отцом вместе над тем несмышленищем, которому уже десять стукнуло, а он не хочет быть взрослым, не хотел отлучаться от материнской груди, и которому уже сорок, а он все так же не хотел быть взрослым... подросток по имени Армик Мнацаканян, который сам давно уже был взрослым, был доволен веселой этой историей еще и оттого, что отец так уверенно, так не проверяя, тут ли сын, начал свой рассказ. У мальчика дыхание и шаги были бесшумные, а если и нет — все равно его дыхание и шаги терялись в шагах и дыхании отца, отец все равно знал, что мальчик здесь, не повернул обратно, идет за ним. Может, отец поверх плеча все же видел красное платье, а может, он хорошо знал мальчика и знал, что сын и он — единое существо, что мальчик — его прошлое, а он сам — будущее мальчика; шагая след в след,

мальчик должен вот так взойти вместе в холодные и пустынные солнечные горы.

— Ну, как у тебя с уроками? — спросил отец.

Мальчик улыбнулся.

— Учишься или же времени не бывает книжки читать?

— Мама вместе со мной буквы выучила... или раньше знала, теперь вспомнила?

— С тобой выучила, — сказал отец, — не знала. Сиротой была — в школу не посылали. Когда пришла в наш дом невесткой, захотела было от младших научиться грамоте, мой меньший брат когда уроки учил, она тайком заглядывала через его плечо в книгу, но так и не выучилась... постеснялась. Постеснялась, — сказал отец, — уже ты должен был родиться, а она, как девочка, тайком в их книгу заглядывала, буквы у них воровала. Моего отца и моего старшего брата и всего нашего дома постеснялась... большая семья была. Теперь только, — сказал отец, — с тобой азбуку выучила.

— Сестренка смотрит в книгу и плачет, букв боится, — сказал мальчик, — говорит: «Я в школу не пойду», говорит мне: «Уроки со мной будешь учить?», а Грайру говорит: «Пойдешь вместо меня в школу?»

Отец с мальчиком рассмеялись.

— Ничего, сколько можешь, приглядывай за ними, — сказал отец, — пока меня нет.

Пять учебников для чтения раздали детям погибших на войне, мальчик остался без учебника. Мальчик раза два пересек озябшее село, дошел до нижнего конца села, но неудобно было то и дело появляться у этих несчастных сирот, дескать, вот он я, сын живых-здоровых родителей, пришел выучить свой урок отличника. Нет, невозможно было приходиться в эти дома, где чуждыми были и безобразная нескладная дверь, и неряшливая, не на месте стоявшая печка, и сам запах дома и только немножечко своей, немножко родной была «Книга для чтения», — ну, как твой братик, который стесняется на улице подойти к тебе среди народа. Мальчик не смог объяснить учительнице, почему он не пошел к Норику учить уроки. Он пообещал пойти и снова не пошел. Оставалась одна надежда — на утро, что успеет наскоро, по диагонали пробежать глазами урок, но в домах часов не было, в холодном, чисто подметенном классе мальчик вместе с уборщицей рас-

тапливал печку и ждал, но товарищи все не шли... в домах часов не было, и, только когда в морозной тишине звенел школьный звонок, ребята выскакивали из домов и неслись сломя голову в школу, прибегали они всегда с опозданием, когда учитель уже был в классе или поджидал их в дверях учительской. А если кто-нибудь, обманувшись каким-нибудь случайным треньканьем, приходил пораньше, они втроем, с мальчиком и уборщицей, разжигали печку этими дрянными паскудными дровами, потому что оторваться от этой печки, сесть за холодную сухую парту и уткнуться в «Чтение», от которого вдобавок пахло чужим домом, было невозможно.

В одноклассниках, тех, что получили учебники, мальчик тоже заметил неприязнь. Им было сказано, что учебники даются им, но они должны делиться с другими, у кого их нет, и они сказали «да». Но каждый раз, когда надо было отдать книгу, в них вспыхивала какая-то убогая злоба. Или ненависть. Но на это нельзя было жаловаться, потому что нельзя было говорить об их погибших отцах и своем здравствующем... а учителя, и в особенности учительница армянского, сначала незаметно, но потом уже слишком даже часто заговаривали о доброй зависти, и получилось, что зависти и ненависти не существовало — была только добрая зависть. Слово «зависть» в этом классе обретало какой-то мягкий, милый, даже полезный оттенок... и как раз в это время Абовян Норик не отдал свое «Чтение» Армику Мнацаканяну, случилось это прямо в классе. Абовян Норик прикинулся глухим или же впрямь оглох от ненависти и «Чтение» перед Армиком Мнацаканяном не положил, а остался сидеть, закрыв книгу локтями, навалившись на нее грудью и заткнув пальцами уши. На третий или же пятый оклик учительницы он коротко, решительно посмотрел и швырнул книгу, да так, что «Чтение» перелетело в другой конец класса. На что учительница сказала: «Вот почему ты не готовишь уроки, Армик Мнацаканян». На следующий день было задано выучить наизусть стихотворение Ованеса Туманяна «Прощание пастуха». Длинное было стихотворение, учительница переписала его и дала Армику Мнацаканяну. Это был прекрасный почерк, белая бумага, ровные строки и фиолетовое сияние букв... и эта звонкая печаль расставания, когда

хочется плакать и улыбаться и в горле у тебя першит... да, и у Армика Мнацаканяна должен быть такой же почерк, и он будет писать фиолетовыми чернилами на белой, ослепительно белой бумаге... так-то оно так, но ведь нельзя было ждать от учительницы, чтобы она переписала для Армика Мнацаканяна весь учебник.

И он вспомнил, как отец строгал доску, может быть, мастерил дверь для их дома, мать то и дело выволакивала Армика из-под ног отца, ей-то казалось — из пыли и грязи, и каждый раз он снова лез в эти мягкие стружки-опилки... из-за отцова уха торчал карандаш, отец был в переднике, и вдруг отец вытянулся в струнку и с чувством продекламировал, Армик Мнацаканян потом в школе узнал, что так вытягиваются в струнку ученики, вызванные учителем к доске. Отец вытянулся по-ученически и продекламировал:

Э-э-эй, зеленый братец,  
Э-э-эй, веселый братец,  
Ты сказал нам: «Улыбайтесь,  
Забывайте о зиме!  
Пусть цветы в садах белеют,  
Пусть ягнята нежно блеют,  
Пусть скворцы птенцов лелеют,  
Распевают на заре!»

Отец все эти строки произносил нараспев. «Зеленый братец» — это кто же будет, а, сыночек?» — сказал он. Давным-давно, за пределами мальчиковой памяти, может, когда мальчик в колыбели был, отец научил его, и теперь они вместе, в один голос сказали: «Весна — зеленый братец!» — и похвалили друг друга в один голос: «Молодец!»

Старые эти голоса указывали мальчику место учебника, своего, родного, семейного учебника, из которого вместе с Ованесом Туманяном должны были выглянуть дед мальчика — он сейчас подставил угасающие колени к очагу и ждет, когда кончится война, — и бабушка, она ежедневно уходила к часовне и семь раз на коленях часовню эту ползком обходила — во здравие всех детей — сыновей, дочерей, внуков и правнуков — всех; мальчик должен был увидеть старшего дядю, который был на передовой и не писал писем, должен был увидеть отца, которого каждый день ждали домой;

в этой книге непременно должна была быть и старшая тетка, сестра отца, которая вышла замуж в Дсехе, родила трех сыновей, муж которой должен был вот-вот вернуться с фронта, и другая сестра отца, добрая, тихая, красивая, у которой в свою очередь было три сына, а про мужа говорили, что погиб на войне, но лучше было пока не верить и никогда не верить и не оплакивать его, лучше было надеяться и ждать, и меньшая тетка, Наргиз, которая тоже была замужем за дсехцем, у которой был один сын и которая, говорят, была способной, хорошо училась в школе, но учебы не продолжила, потому что влюбилась... и младший дядя, который вполне мог не пойти в армию, но постеснялся и пошел, и старший сын старшего дяди, который из-за войны оставил школу и работал, и его сестры и братья — Сохак, Елена, Валод... все, все, все, кто хоть раз листал этот учебник, должны были взглянуть с его страниц, и дыхание их большого рода должно было обступить мальчика.

Как кошка, у которой что-то тайное на уме, но ни сама она еще, ни ты не знаете, не догадываетесь об этом и пока еще она дома и рассеянно тычется туда-сюда, — совсем как такая кошка, мальчик покрутился немного возле деда-бабкиной печки, не слушая, послушал их причитания-стенания, поинтересовался между прочим, видел ли, дескать, дед живого Ованеса Туманяна, и, не выслушав ответа, вдруг исчез.

От амбара тех обильных времен пахло хлебом. В этом полумраке, среди полной тишины мальчик почувствовал себя вольной мышкой. Мальчик не знал, что выйдет из амбара весь, как мельник, обсыпанный мукой, мальчик лазал по амбару, находил разрозненные странички и целые книги, подносил к тоненькому, медного отлива, лучу света, пробивающемуся сквозь щель, «люди старого мира считали, что земля большой кусок суши», и все это время в памяти мальчика, словно мальчик, до того как родился, уже жил в отцовском большом клане, — все это время в глубинах мальчикова слуха и зрения звенела, глухо смеялась, строила козни, молча улыбалась, глухо жаловалась и молча исходила слезами старая большая семья: отцовы сестры-девушки ткали ковер, бабка помешивала на огне суп, дед прилег на мутаку, дядя хотел подсадить на колено своего младшего, но стеснялся присут-

ствия деда, своего то есть отца, младший дядя спрятался от гвалта за ковровым станком и учил наизусть домашнее задание — под смех сестер и постукивание станка.

По амбару постукали палкой. Мальчик притаился. Дед, значит, сумел подняться на чердак. По амбару постукали палкой и сказали: «Это что за мышь забралась в наш амбар?» Мальчик залился тихим смехом, словно не один был и не в полутьме — словно с отцом был или с дядей, словно они тоже мальчиками были, уличенными в воровстве, и смеялись вместе с ним. «Это что за мышь там книги наши грызет?» — сказал дед. «Моих детей книги что за маленькая мышь там грызет, пойду черного кота принесу, брошу в амбар, пусть поймает ту мышь», — сказал дед. И затаившийся в темном углу мальчик решил, что привезет деду с бабкой дров на салазках, что всегда будет приносить им дрова... и все еще не принес, все еще должен принести. «Ну так брось же, — сказал мальчик, — где твой черный кот, пусть сожрет меня, брось». — «Шшитаешь, смеюсь?» — сказал дед, и мальчик повторил про себя: «шшитаешь, смеюсь», «не брошу, шшитаешь?» — и заглянул в щель плохо прикрытой дверцы. Он был настолько слаб, его шутку и правду не различить было. «Шшитаешь што», — повторил в уме мальчик.

Ужасное случилось потом, буквы в учебнике куда-то отъехали, и вместо них объявилось дедово «шшитаешь што». Но, стоя в классе перед картой, нельзя было сказать «древние греки шшитали, что земля — большой кусок суши». Мальчик стоял как в столбняке. Ни память, ни усилие воли, ни подсказка, ни даже помощь учительницы — ничто не помогло. Мальчик потом мог сказать, что чувствует ржавеющий в доске гвоздь, и что чувствовало бревно дяди Ашхарбека, застрявшее в грязи, и что чувствовала корова Пыльного деда, которую засасывала топь и она обреченно ждала, когда же ее совсем уже всю засосет. А учительница время от времени повторяла: «Я жду», «я жду тебя»... «Сядь, — сказала учительница, — плохо». «Очень плохо, иди», — сказала учительница, но это было уже не так ужасно, поскольку мальчик шевельнулся и увидел, что он не угодившая в топь корова и не гвоздь, умирающий в доске. «Вот вам и ваш отличник», — донесся

голос Норика, и мальчик мысленно махнул на него рукой. «Иди к доске ты,— раздался голос учительницы,— посмотрим, как ты запоешь», и Норик, рассказывая на ходу урок, пошел к доске: «Древние греки полагали, что земля — это кусок суши, суша эта, как они полагали, имеет конец, после чего начинается неизвестное большое море».

— Я нашел твой учебник,— сказал мальчик,— твой, старшего дяди, тетин... вашего старого дома учебник нашел.

Отец поглядел на него через плечо.

— Я в амбаре был,— сказал мальчик.

— В амбаре! — насмешливо передразнил отец. — Амбар.. Я размеры взял, небольшой хотел амбар строить,— рассказал отец. — Твой дед не согласился — больше надо, говорит, и бабка, моя мать, сказала: «Большая семья, внуки уже есть, и у тебя дети будут, разве это большого очага амбар?» Я послушался, расширил. Что внутри было-то,— сказал отец,— что ты там увидел-углядел?

— Хлеба не было, я не за хлебом полез,— сказал мальчик,— хлебом, правда, пахло, но я книгу искал. Вы это проходили? — спросил мальчик.

Эй, люди добрые, сюда!  
Ко мне склоните слух!  
Вам про минувшие года  
Поведает ашуг.

Отец замедлил шаги, остановился, повернулся, хотел было что-то сказать, но не сказал. Еще раз вроде собрался что-то сказать и снова промолчал.

— Это моего младшего брата урок,— заговорил наконец отец,— твоего дяди. Вишь, нашел в старом амбаре. Постеснялся он, сам в армию пошел. А ты, значит, его книгу нашел. Да,— сказал отец,— короткая полоса надежды и покоя блеснула, мои отец с матерью подумали, сейчас на току начнут зерно молотить, на мельницах встанет очередь, из амбаров запахнет хлебом... Если приглядишься, если как следует приглядишься... но не надо, нет, не смотри лучше... я у телка за левым ухом отметину сделал, чтобы потом из

стада взять, привести домой. Каранцевский дед Саргис почистил плуг, смазал маслом и спрятал под верандой... пусть подождет, намащенный, пусть столько там ждет, пока не сгниет вековая сталь... не нашего ума дело!.. — крикнул отец, и голос его прерывался. — Вместо вола малого ребенка с собой веди. Возвращайся! — крикнул отец, и ветер разорвал, разнес его голос.

Ветер свистел в последних деревьях, но оттуда, где кончался лес и начинался синий склон — от этого места и до самого Седла ветер ни клочка снега не сорвал, — тут все было покрыто льдом. Буки постанывали, весной они снова должны были пустить лист, взгорки Седла были освещены солнцем, нет, не солнцем — отблесками чужого дальнего немощного огня; от того места, где кончался лес, и до самого разбитого Седла склон назывался Медовый Цветок... но эти буки никогда уже, казалось, не зазеленеют, не зацветут, и склон этот враг в насмешку просто назвал Медовым Цветком. Казалось, под корой все заледенелое и буквые деревья вот-вот разломаются-рассыплются в прах, и ветер завывает среди сосуллек, и уже твой собственный позвоночник кажется сосулькой. Так-то вот. Хочешь — переносись мысленно в туманяновские добрые владения, хочешь — продень руки в рукава девичьего мамино, будущего сестричкиного, платья... вот он, твой мир.

— Не очень быстро идем, Армо? — спросил отец.

За отцом мальчик не сам шел, свой шаг и самого себя мальчик не чуял, за отцом мальчика несли какие-то крылья, какое-то чувство, какая-то связь, кровная, дружеская ли, что-то вроде этого.

— Быстро нам нельзя, — сказал отец, — а то вспотеем и промерзнем. Как увидишь, что не поспеваешь, скажи.

Это было уже прямое свидетельство того, что мальчик не лишний.

— Отец с сыном идут косить, — повел отец рассказ, и мальчик тут же увидел себя и отца среди рыжих покосов. — Приходят в поле, первым делом ложки достают, садятся поесть. Подчищают миски, сын отцу и говорит — и поели же мы, отец, на славу, — а тот ему отвечает — а как же, сыночек мой, я лев, ты львенок,

едоки что надо. Вечер когда приходит,— повысил голос отец,— отец с сыном смотрят — ничегошеньки не накосили. Отец и говорит — ну, я ведь старый, а ты еще ребенок, а как же, сыночек.— Отец засмеялся. В холодном неживом лесу отец засмеялся, но казалось, смеется он среди рыжих прогретых солнцем полей.

Это была не их история, они с отцом такими быть не могли. Красиво было, что и говорить, что отец с сыном сидели друг против друга, что еда перед ними стояла, что отец был старый, что даже голос отца был старый... и все же это были другие люди, не мальчик с отцом, не они.

— Армо,— мягко, словно по голове погладил, сказал отец,— вот ты говоришь, Ованес Туманян...— И оттого, что голос у отца такой мягкий был, или же оттого, что на смуглом лице его была виноватая улыбка, а может, оттого, что вершина горы за деревьями на секунду осветилась солнцем, при словах отца у мальчика в душе открылась теплая светлая ласковая полянка, мальчику был уготован какой-то подарок, праздник, весенний день, какая-то мелодия. Отец нагнулся и завязывал мальчику шнурки постолов, мальчик тыльной стороной ладони вытирал нос, ни ноги его, ни нос не были здесь, и он даже не почувствовал, что отец завязывает ему шнурки постолов; сердце в его груди играло, как весенний чистый жеребеночек среди зелени, как тайная улыбка фиалки, как глухой и звонкий пчелиный концерт над долиной — душа мальчика распахивалась, становилась большой.

— Что тебе сказать... Ованес Туманян,— продолжал отец,— ну это было и прошло, был он, да, но теперь-то его нет... а я хочу, чтобы ты стал таким, как Степик... как Степа... как Степан.

И мальчик мгновенно поверил, что сам он нехороший, самого его не существует — хороший, примерный, красавец, тот, для кого у мальчика не было ничего достойного, но кому мальчик хотел бы отдать все, все на свете — Степик, Степа, Степан. Подросток по имени Армик, Армо, Арменак еще не знал, кто такой этот Степан, где он и чем занимается, но ему тут же захотелось, чтобы его имя тоже было Степан.

— Если хочешь, стану,— сказал мальчик.

Отец виновато и недоверчиво улыбнулся.

— Нелегко, — сказал он, — трудно это.

Вот так, по дороге в горы, в студеный зимний день сын их дальнего родственника Степан Томцян вошел в жизнь мальчика по имени Армик, Армо, Арменак, того самого, у которого голова, чтоб вошь не завелась, была обстрижена большими овечьими ножницами, у которого через плечо наподобие хомута была перекинута толстая веревка, на которого было надето бывшее материно и сестричкино будущее красное платье, — в жизнь мальчика с красными потрескавшимися руками, засопливевшего от холода, Степан Томцян вошел как зов дальних далей, как что-то очень чистое, как тоска по этому чистому.

— А кто он? — спросил мальчик. — Генерал?

— Нет, — сказал отец, — но станет. Твоего возраста мальчик, гордость школы, отличник, во всем городе Ереване на него пальцем показывают, один он такой. Братья тоже хорошие, но Степа особое дело. На торжественных собраниях выходит на сцену, выступает, других учит, ты разве можешь? — Отец и сам не был способен на все это. Даже подумать об этом не мог. От одной даже мысли об этом его бросало в жар.

Отец засмеялся:

— Перчик и Алик вдвоем чуть не целую рамку меда умяли, съели и похлопали себя по животу, а их дед Степан только засмеялся. Но Степа — нет, твой ровесник, словно взрослый человек, обед свой съел, «Мама, можно я не доем это?» — и ушел в свою комнату. («Ушел в свою комнату», — повторил про себя мальчик.) «Мама, ты позволишь, я оставлю это?» Нет, не так, — растерялся и вспомнил отец, — он сказал «мама, вы позвольте»... Они своего отца и свою мать на «вы», во множественном числе называют, словно не одна у них мать, а несколько. А и в самом деле так; их дед Степан и их отец десятерых стоят по ловкости-расторопности... Учись как следует, слышишь, — встрепенулся отец, — нехорошо учишься.

Отец был прав. А было это так: Абовян Норик учился хорошо, после него неплохо учился и мальчик, но потом мать Норика послали с фермой на зимовье, и Норик перестал учить уроки, следом за ним, словно стесняясь быть отличником, потускнел и мальчик... Но это еще куда ни шло, еще постыднее было то, что

мальчик в закоулках погреба нашел бутылку застывшего меда: затаившись в подвале, он согревал ее дыханием, грел в руках и под мышками, но мед не оттаял, не растопился, и мальчик материнскими спицами, теми, что она носки вяжет, выковыривал и слизывал этот мед, выковыривал и лизал... Мальчик, если бы можно было, запрятал бы куда-нибудь в уголок памяти этот позорный свой поступок, как была запрятана сама темно-зеленая бутылка, в углу погреба... Мальчик возненавидел себя, ему стал противен и брат, с такой же, как и у него, неровно обстриженной головой, брат смотрел на него, как собака, подбородок — на сторону... мальчику показалось, брат тоже знает место темно-зеленой бутылки. Мальчик еще совсем мало жил, плохих поступков за ним было еще очень мало, мальчик приписывал себе и проступки брата, но все равно темно-зеленая бутылка не давала покоя.

А отец снова говорил о трех золотых медовых рамках. То ли дед отца Оганес, то ли мальчиков дед Аветик, скорее всего, и тот, и другой, а с ними вместе и отец мальчика задолжали эти рамки деду Степы, Перчика и Алика — тоже Степану, давно еще, с дедовских времен задолжали, а и не задолжали, мед в сотах нам на что?..

— Мед в сотах нам на что? — повторил мальчик.

Дед Аветик отправил мед в город, и этот самый Степан поменял место отца на фронте, из пехотных частей перевел его в артиллерию, где, правда, прямым попаданием разносило и орудие и людей, но случилось и так, что мина падала далеко, во всяком случае, далеко от особняка Томцяна Степана, и он с лучезарной верой по очереди переправил их на передовую — отца мальчика, его дядю и всех без исключения цмакутцев, всех, кто пришел к нему на поклон с рамками меда.

— Еще этот подъем одолеем, Армо-джан, — сказал отец, — и все. Не быстро иду, поспеваешь за мной?.. И поросенка с собой прихватил, — засмеялся отец, — откуда мне было знать, что они свиного запаха не переносят, невестка их зажала нос и убежала. По нашему разумению, я им очень даже хорошую вещь принес, — отец засмеялся и дернулся, словно до сих пор еще тот мешок с поросенком был у него за плечами и он с рамками меда в руках стоял в их зале и не знал,

куда сложить поклажу.— Порося я обжег, почистил хорошенько, они от этого запаха нос воротили. Ты не знаешь,— сказал он,— мы с твоей матерью ночью незаметно обожгли, целиком, красный поросенок был, я через этот голод и нищету принес-доставил им такую вещь, а дед Степан говорит: «Взрослый парень уже, неужто не знаешь, что мы свинину не едим?» А насчет меда не стал возражать,— сказал отец.— Теперь не знаю, выбросили ту свинью они или отдали каким-нибудь голодным соседям. Обрато братъ мне неудобно было.

— Они турки, наведено,— сказал мальчик,— турки свинину не едят.

— Не турки — армяне, из нашего мнацаканяновского рода.

Сердце у мальчика екнуло, избранные из мнацаканяновской стаи взлетели и парили в дальних далях, его братья Мнацаканяны выступали на торжественных собраниях.

— Аферист,— сказал отец.

Мальчик впервые слышал это слово, и аферист поместился в чистых, светлых, нарядных и мелодичных покоях, и до сих пор, до сегодняшнего дня мальчик не может отделить это слово от уверенной учебы братьев-отличников, от роскошной, цветущей красоты их матери, от сдержанного присутствия, смаживающего на отсутствие, их отца и от этой обители тонкого, точного, казалось бы, мелкого, но — крупного — жульничества.

— Аферист — значит, умный,— сказал отец,— значит, знает, куда ему ступить, где стать, чтобы не затеряться. Э, когда это было, я такой, как ты сейчас, был, он сказал: у села нет будущего, и перебрался в город, теперь мы дошли до этого положения, но настоящий, большой смысл его слов все равно еще не понимаем, ни я, ни твой дед. И ты не поймешь, как я погляжу. И ты, Армо-джан.

Перед тем как кончиться лесу, мальчик с серым от холода, покрытым пупырышками лицом, с выскочившими из орбит глазами, с головой, постриженной овечьими ножницами, с худой голой шеей, стоя в колее от телеги, прошептал:

— Степан Мнацаканян, Перч Мнацаканян...

Мальчику потом казалось, отец в этом месте про-

молчал. Отец долго молчал, жалко улыбался и не говорил того, что хотел.

— Пошли,— сказал отец.— Пошли-пошли.— Он повернулся к мальчику спиной — наверное, он не хотел видеть то выражение поруганного, которое должна была вызвать в мальчике правда.— Томцяны они теперь. Фамилию поменяли. Томцяны.

Что они бросили село, что вместе с своей одеждой пастухов оставили в селе свою фамилию, что не захотели быть Мнацаканянами — это их пренебрежение мальчика ужалило позже, много позже, спустя десятилетия. А сейчас, ступая по колее в ногу с отцом, совсем как молодой бычок, мальчик тайком глянул на отца и захотел быть Томцяном, Томцяном Степой, Томцяном Аликом, Томцяном Перчем или же, если это не покажется смешным, быть Томцяном Арменаком и быть их братом... Но тогда оставался один среди этих снегов отец, и в селе один оставался брат с неровно обстриженной овечьими ножницами головой, с вывернутым подбородком, молча глядящий, как собака, брат...

Левее Сломанного Седла, по склону Медового Цветка, проходила и падала в овраг заснеженная тропка. Отец заметил ее, но не обратил внимания, потом пригляделся и стал к чему-то прислушиваться.

— Это какой же дурак...— донесся голос отца.

И хотя те же следы выходили из оврага и, обогнув заснеженный куст шиповника, пересекали дорогу в горы, отец делал вид, что не видит их, прошел, не глядя на следы, но это было похоже на открытый обман, потому что мальчик ведь не только следы заметил, но и застывшую на снегу кровь. Отец обернулся и прежде, чем посмотреть на следы, взглянул на мальчика. Это были медвежьи и человечесьи следы вперемежку. Медвежий след и человеческий, и человек был необутый или же обутый, но обувь обмотана тряпьем. Кто кого преследовал: человек загонял медведя или же медведь человека? Две трудные капли крови упали на снег и застыли. И то ли медведь тяжело карабкался вверх, то ли человек соскользнул обратно, или же обратно скатились оба вместе? Следы поднимались по обочине в гору, потом сворачивали вправо — к чаще. Мальчик

прикинулся наивным ребенком, чтобы отец за него, за своего сына, не испугался, чтобы отец спокойно мог придумать какую-нибудь ложь.

— Всадник прошел здесь, — сказал мальчик. — Всадник, правда?

Отец плюнул, так прямо и плюнул в эту историю — в страдания человека и страдания медведя, в эту тайну и в этот героизм:

— От страха голову в штаны запрятал, а ты — всадник! Еще чего!

В далеких скалах Кахнута есть пещеры — мальчик повел эти следы от пещер и верхами, верхами привел их на эту сторону горы, перевел через дорогу и увел оврагами к далекому склону Кошакара. Мысленно мальчик уже смотрел с вершины горы, и они виделись ему черными точками на заснеженном склоне. Их путь, когда он начался? Рано ли утром, когда мальчик ждал отца, прислонившись к дверному косяку, или вчера ночью, когда мальчик принял решение пойти с отцом за сеном, неделю назад, месяц назад или же всю войну он молча, незаметно следовал за раненым медведем?

Они вышли на развилку, дорога к зимовью уходила на Седло, но отец не пошел нужной дорогой и не остановился — не меняя шага, он пошел по тропе Синего родника, которая под снегом сровнялась и была не видна. Отец, что же, решил не ходить на зимовье или, может, в этом продрогшем несчастном мире сломанные ворота хлева показались отцу пустяковиной, а может быть, отец решил сам приладить вязанку мальчика? Мальчик потом понял, что отец просто убежал, просто не захотел увидеть своего навьюченного ребенка и убежал — лучше не видеть мучений сына. Стоя на вершине холма, отец показывал мальчику, где лежит их сено.

Там же, на вершине холма, взорвался-пронесся у них под ухом последний клочок ветра, они зашли за холм, и был один сплошной пустынный, ослепительно сверкавший мертвый покой. Ветер гудел по тенистой стороне склона, а на этой стороне были солнце и тишь. Мальчик потер уши, отец с сыном стояли смотрели вниз, и в ушах мальчика свистела пустынная тишина белых пространств — отсюда и до самой большой равнины Кошакара. Ничего не двигалось. За восемнадцать километров вниз по реке, там, возможно,

слабая надежда пленных, в чаще, может быть, тлела его надежда и надежда медведя, но здесь ничего не было видно и ничего не было.

— Всякое может случиться, если встретится тебе по дороге,— сказал отец,— молча пройди, будто не видишь. А если вдруг заговорит, спросит о чем-нибудь, скажи, не один я, отец следом идет, дед идет, наши все за мной следом идут.

Стожка не было видно. Взгляд мальчика обежал весь склон, но стожка не было, всякие мелкие холмики были, но то были муравейники. На всем белом склоне было одно только черное пятно, маленькое черное пятнышко, мальчик понял, что это родник, тот, что в топи, потом мальчик разглядел высокие сухие камышины, одни только кончики — снег, значит, такой высокий там был. Потом мальчик нашел-таки стог, но не захотел поверить, что это его с матерью высокий осенний стог. Он был с муравейник и под снегом казался просто муравейником.

— А почему он не выстрелит в медведя? — спросил мальчик.— Пули нет?

— Пули нет, ружье ржавое, мушка сломалась, мало ли, тысяча неудобств,— ответил отец.— Среди вражьей этой тишины выстрелит, а потом? Вор он, вор,— сказал отец,— трусливый вор, скрывает-прячет. Продрогли мы с тобой,— сказал отец,— а ну давай иди.— И как-то странно, как-то вбок ставя ноги, отец зашагал к зимовью, а мальчик побежал вниз.

— Армо! — донесся голос отца.

Мальчик остановился, оглянулся. Стоя среди ясно-го, яркого солнца, отец вроде бы улыбался.

— Ежели увидишь, что не под силу, не стесняйся.— Отец коротко махнул в сторону села: оставь, мол, иди домой, ежели не сможешь.— Армик! — снова донесся его голос.

Отец теперь не на солнечном, освещенном склоне был, а снова на вершине холма, и ветер рвал на части его голос. Отец повернулся, пошел наклонясь, согнувшись, и словно отец не сам шел, словно ветер его вел.

— Арменак!..— услышал мальчик, но это уже ему показалось или же отец звал его уже с той стороны.

Мальчик убежал. Мальчика, казалось, не было, он словно возникал из небытия. Потом он убежал. Он убегал три раза. Он помнил, как он вначале спускался

со склона Синего родника, спускался, спускался и останавливался посреди белого холодного солнца... Он вытаскивал ногу из снега, и обледенелая снежная корка царапала лодыжку, потом он вытаскивал из снега другую ногу, и снова снежная корка больно царапала ногу, корка эта обламывалась, и нога мальчика до подола красного платья проваливалась в снег, мальчик вытаскивал ногу, осторожно сузив и сжав стопу, но все равно ледяная корка умудрялась царапнуть мальчика, и мальчик, перед тем как переставить ногу, останавливался, долго смотрел. Еще помнит, что подул на пальцы, потом задрал подол и приложил руки к животу, к самому низу. Руки не согревались, а живот стал мерзнуть, и вот тут-то мальчик по-глупому улыбнулся, вскрикнул и убежал.

Мальчик думал, он к селу побежал, но пришел в себя возле стожка... Еще здесь, значит. Ужасно это было — что еще здесь, что еще только должен был убежать. По белому сверкающему склону его след бежал к селу, долго петлял и приходил к этому снежному холму. Мальчик обошел холм кругом и остановился, постоял немного. Нижние зимовья стояли заброшенные, черный омут Синего родника затерялся среди снегов, и не доносился с нижних зимовьев привычный окрик: «Эй, кто ты там, парень ты, девушка, кто, говори...» Жалея отца, пленных, медведя жалея и его, жалея себя самого, мальчик еще раз обошел холм, всхлипнул несколько раз и убежал.

Перед тем как войти в лес, мальчик опять стоял и смотрел назад на свой след, спускающийся по склону, на пустой хребет горы, откуда последний раз слышался голос отца, на дорожку, проделанную им от стога, дорожка эта кончалась у него под ногами. Мальчик стоял, омытый холодным, не греющим солнцем, только стоял, ничего не делал и не знал, что будет делать, и даже того не знал, как это получилось, что только что он был возле стога, а сейчас его там нет.

А теперь вот он стоит перед своей дверью и ничего не помнит. Пожалуй, только след медведя и его след и две капли черной крови, но и это, похоже, они с отцом вместе видели. Возле сена, в тихой долинке Тандзута, мальчик подумал было набрать грабу, наломать мелких сучьев, принести домой вязанку, но это было все равно что у самого себя просить милостыню.

Это был обман, и мальчик не стал этого делать. Мальчик махнул рукой. И вот так, ничем не маскируя себя, потерпевшего поражение, мальчик — в красном девчушкином платье — прошел холм Медовой Груши и спустился к своему дому. Кто-то, стоя на тропинке Данеланцевой уборной, смотрел в его сторону — казалось, с самого утра он так и стоял тут, ждал мальчигова возвращения. Зимний скудный день угасал, как керосин в нищее время, солнце уже подкатилось к самому Чрагтату, и дубового цвета холм Медовой Груши был весь залит ярким солнцем. Красное платье мальчика горело на солнце и было видно со всех сторон и от их собственного дома, и от дома Данеланцев, и от дедовского дома, и от дома Каранцев, от старшего дяди дома и от тетки Шушан... И пускай, мальчик не стал прятаться за деревьями и не снял с себя красного платья, полая на солнце красным, мальчик спустился по холму Медовой Груши, подошел к дому, постоял немного между домом и хлевом. Веревку, которую он на манер русского солдата перекинул через плечо, веревку эту он снял и бросил в угол хлева, подол красного платья собрал и через голову, почувствовав себя на минутку девочкой и переполнившись от этого отвращением, стянул с себя это платье, швырнул на бельевую веревку, протянутую от дверной балки к балке хлева. И остался стоять. Мать, сестричка, брат повыбежали из дома, но, не добежав до него, остановились. По всей длине карниза с крыши сарая капало, капель уже сходила на нет, уже начинала свисать тоненькими сосульками. «Смотрите,— мысленно сказал им мальчик,— я для вас сейчас театр, нате, смотрите». Девчушке росту не хватало, положив ручонки на перила, она пыталась подтянуться, чтобы лучше увидеть брата.

— Не разрешил,— высказала предположение мать,— с полдороги домой отправил.

Мальчик пожал плечом.

Глаза матери выкатились от ужаса.

— Сено украли,— сказала она.— Нехорошо закрепили, пурга разнесла.

— Нет,— сказал мальчик,— там оно.

Мать улыбнулась.

— Буран был,— сказала она,— не смог вязанку связать.

Мальчик смотрел в сторону холодного чрагтатовского леса.

— В дом идите,— сказала мать,— холодно, идите домой.

Мальчик даже головы к ней не повернул.

— Капкан твоего брата,— сказала мать,— поймал гуся тетки Шушан, напромышлял братец, видишь, говорит — по случаю прихода папы! — мать рассмеялась.

С неровно обстриженной головой, лопухий брат смотрел на мальчика, поверх перил, поверх двух рученок на мальчика смотрели глазки и лоб сестрички.

— Ничего, мой хороший,— сказала мать,— на горе буран был, если же о гусе думаешь... свинью тогда зарежем, четыре килограмма мяса им — вместо их гуся свиную ножку им дадим.

— Мне что,— прошептал мальчик и повел плечом,— отдавайте.

— Если ты должен был так вот торчать перед дверью и в дом не идти,— грубо и серьезно сказала мать,— лучше бы в поле и торчал. Ступай, в дом иди,— сказала мать,— нечего глаза мне мозолить.

Мальчик повел было плечом, потом увидел, что надо что-то ответить, и мальчик сказал:

— В поле не стал торчать, чтоб ты знала, что со скалы не свалился и что волки меня не сожрали.

И мать увидела, что не может обмануть его и заставить тоже не может. Мать загнала детей в дом, открыла калиточку террасы, пришла, встала под карнизом возле поленницы, где дрова были сложены заботливо, аккуратно — полешко к полешку, поленница была выше материнной головы, с карниза капала капель. Освещенная солнцем, капель казалась нитями ткацкого станка, того, на котором ковер ткут, и за этой завесой красивая матушка была как на картине нарисованная, стоя возле поленницы, где виднелись старательно сохраненные мальчиком зеленые бороды поленьев, скрестив руки под грудью, она переступила с ноги на ногу и не смогла придумать что-нибудь, чтобы обмануть сына.— Разрешается? — улыбаясь, спросила она.— Разрешается твоими дровами печку растопить?

Мальчик презрел ее.

Взяв в охапку поленьев, мать благословила своего сыночка:

— Чтоб еще сильнее стали руки того, кто эти дрова

набрал, чтоб его солнышко расцвело на радость нам, красное-красное.

Мальчик сделал вид, что не слышит ее.

Поднявшись на террасу, мать обернулась к мальчику:

— Боды нет, поди принеси.

Не позволив себе взять в лесу граба, мальчик отверг эту воду тоже — мальчик расправил спину и не ответил матери. Пол-лица освещено солнцем, с поленьями в руках, мать засмеялась и снова сказала:

— Братец твой домашнего гуся капканом поймал. Говорит, из гуся только подушку делают, а с жареной картошкой нельзя его?

На эти слова из-за двери высунулась смешная братова голова, брат глядел на мальчика, растопырив большие уши и вывернув на сторону подбородок, а к окошку, к стеклу, прижался с той стороны девчушкин носик.

— Так в капкане и тащил его, приволок, открыли капкан... пошли, дома расскажу...— засмеялась мать.

Отчужденно, издали, словно узник из-за решетки, мальчик глянул на нее.

— Бедный ребенок побледнел со страху, а гусь и шипит и кричит, ровно хозяйка своя...— засмеялась мать.— Мало было свињи, гуся еще заимели. Как открыли капкан, гусь на одной ноге крутанулся, разлетелся и полетел к тетке Шушан, а одна нога в воздухе болтается, та, что в капкан-то попала, прощайте-прощевайте, говорит нам гусиная лапа. Теперь мы вместо этой лапы,— засмеялась мать,— поросячью ножку им отдадим, голова с этой минуты ихняя, на свиње еще, но не наша. Если хотят, могут прийти, свою долю оторвать, унести, а мы свою долю после января собираемся зарезать. Иди в дом,— сказала мать.

В отсутствие мальчика мать поругалась с теткой Шушан и теперь со смехом рассказывала ему эту историю. Она совсем еще девчонкой была, как девчонка худой и пугливой, года три-четыре назад как-то ночью она вдруг пропала из дому. Дети ликовали, то-то им раздолье, бабка всегда думала, что в этой женщине сидит тоска по далеким вершинам, короче говоря, сумасшествие — вот и ушла, дед не мог и не хотел участвовать в разговоре, потому что не только колени, но и мысль его в последнее время была немощна,

и, только глядя на продолговатое умное и спокойное лицо младшего дяди, мальчик понял, что мать отправилась за коровами. Их коровы отданы были на зиму в какие-то деревни в низовьях, где, говорят, было тепло и было много корма, зеленые, дескать, села, надежные, дескать, добрые руки... Худая, как былиночка, сухая эта женщина покрутилась-покрутилась, поглядела на спящих своих детишек, и вдруг словно что ее стукнуло, вдруг она поняла, что с коровами стряслась беда. Не дожидаясь рассвета, поскольку утром невозможно было бы отодрать от ворота и от шеи льнувшую к ней, как котенок, девчущку и высвободить подол от ручек Грайра, да, и Грайра тоже. Она за день дошла до Дзорагеха и семь дней, гоня перед собой корову, шла домой. Возле дома старшего дяди, где начинался подъем, где в гору надо было идти, они застряли. Постаревшая, со вздувшимися жилами на руках, с отеками руками-ногами, под глазами мешки — эта женщина не могла удержать девчущку, девчущка вываливалась из ее рук. Тощая, старая, одна кожа да кости, осиротевшая корова хотела сдохнуть, и эта женщина бормотала глухо, без выражения, словно в бреду: «Сестрица, матушка, Агун, родная... детей моих пожалей, ведь ты моих детей бабка, а, матушка, так ведь, матушка... Дочек своих порастеряла,— не в силах подняться с колен, засыпая на ходу, без слез плакала она,— красных пригожих дочек своих порастеряла, теленочка потеряла, жаловаться сил у тебя нет, бабка моя... а ведь ты снова будешь плодиться, умножаться, в стаде своем королевой снова станешь, Агун-джан, милая...» Их тощая старая корова должна была отелиться — и не могла. Дед, все знавший, все умевший, белый как лунь, одряхлевший дед, который еще до мальчика, и до его отца, и до старшего даже дяди не менее как пятистам коровам помогал отелиться, этот чудесный прародитель всех цветов, пчел, деревьев и коров,— этот дед теперь ничего не мог поделать. И среди слабой, немощной этой весны, припушенной желтой порослью, на каменистом солнечном берегу ручья произошло чудо — корова отелилась. С цветочком-отметиной на лбу и кончиком хвоста как цветок, этот дурачок, этот новорожденный шархался и убегал по солнечным склонам — в овражке два-три листочка зеленых проклюнулись, и корова, что не могла еще встать, и мать, которая улыбалась,

положив голову на колени, и дряхлый-предряхлый дед смотрели теленочку вслед.

Эта женщина сказала тогда бабке — когда корове совсем худо стало, когда она не могла отелиться, бабка принесла и на солнечной стороне сада, прямо на изгороди, хотела с молитвами зажечь свечку — солнечная эта сторона овражка таким образом становилась как бы часовней, — вот тогда-то эта женщина и крикнула, уперлась взглядом в бабкину спину и закричала: «Этот бог — я, свечку под моими ногами будешь жечь или как?!» А бабка: «Тьфу! тьфу! — стала плевать-ся, — тьфу, бесстыжая!» — словно божественной ее молитвы злой дух коснулся, а дед скосил глаза и стал похож на наивное изображение творца... Но ведь так оно и было, в весеннем этом овражке богом была — эта женщина.

Перед войной в звонкие, созидательные, обильные еще времена отцу задолжали свинью, он кому-то два улья смастерил, ульи смастерил, а заказчикам сказал: «Не к спеху, принесете, как сможете», насчет свиньи сказал, сунул рубанок в карман, тесак заткнул за пояс и был таков; а прошлым голодным летом эта женщина вспомнила про старый долг, пошла, попросила, взмолилась, стала ругаться и грозиться: какая, мол, разница, долг есть долг, а свинья и в войну свинья — и пригнала-приволокла визжащего этого короткорылого, с отвислыми ушами хряка.

Волк у Данеланцев разворотил крышу хлева, забрался к овцам и перебил их всех до единой. Живой осталась одна только коза с прокушенным горлом. Данеланцы хотели прирезать ее, эта женщина не пустила, сказала: «Небось найдется что-нибудь починить-построить, мой муж вам все сделает, козу эту нам отдайте, выживет ли, околет ли — наша будет судьба». Она расчистила снег под изгородью, выкопала корни крапивы, вскипятила в котле и, обжигая пальцы, кипящей водой крапивной промыла козе раны, а разодранное место заткнула смоченной в этой воде тряпкой. Она и сама не знала, что делает, и мальчику не смогла бы объяснить смысл своих действий, но коза — пожалуйста, вот она, не умеет мемекать, правда, молча смотрит на вас, но скоро должна разродиться тем не менее.

Надежная, любимая, как собственный очаг, эта

живность существует благодаря этой женщине — она имеет право смеяться, она может издеваться и высмеивать чужую невезучесть: жизнь в хлеву теплится благодаря ей. У Данеланцев хлев и так вымер — вон даже дверь распахнута, а там, где волк дырку сделал, снегу намело целый сугроб.

— Сено не твоя обязанность. — Она толкнула коленом дверь, а дети изнутри открыли ее. — Ты школьник, дело твое — уроки учить, — повернулась она в дверях.

Мальчик выпрямился и посмотрел в сторону чрагататовской холодной чащи: закрывая лес, тень от нее пришла, легла у ног мальчика.

— Ну, раз ты так с нами обходишься, — она швырнула охапку поленьев на землю, — мы твои дрова жечь не будем, не нужны нам твои дрова. — И скрестила руки под грудью. — Сколько будешь стоять, столько и я простою, не уйду, — сказала эта женщина.

Игра это была или же она по-настоящему сердилась, все равно это было нечестно с ее стороны. Эта женщина думала, только одна она и существует на свете. Из глаз мальчика посыпались искры и слезы, мальчик по имени Армен, Армик, Армо Мнацаканян посмотрел на нее. Мальчика душил гнев, а эта женщина только глазами хлопала. Похлопала-похлопала, переступила с ноги на ногу, ровно курица, стоящая в снегу, и сказала:

— Ну что?

Мальчик проглотил душивший его ком.

— Думаешь, на свете, кроме тебя, никого и нет.

Полуоткрыв сухой, с потрескавшимися губами рот, эта женщина моргнула, может, поняла, а может, и вовсе не поняла, что хоть она и мать, но с мальчиком у нее сейчас ничего общего. Она нагнулась, чтобы подобрать дрова, а дрова брат уже по одному перетаскал в дом, испуганно отворяя и затворяя дверь. И эта женщина посмотрела на все это и сказала:

— Сгинь!

Это мальчику понравилось.

Она ушла в дом, но через несколько минут прислала с братиком одежду, чтобы тот принес, накинул ее на плечи мальчика. Как и прежде, брат был верной собакой мальчику — и потому он в сомнении стоял возле

мальчика и не знал, как быть: подойти, набросить одежду на мальчика или же не делать этого, послушаться мать. С прозрачными оттопыренными ушами брат стоял, изнемогая от нерешительности. Солнце прошло через мальчика и его брата. Мальчик приказал брату идти в дом, но тот все еще не мог уразуметь: выполнять ему наказ или же повиноваться мальчику.

Откуда-то сухой треск доносился. Ветки не гнулись, ломались, внутри их словно лед был, чуть притронешься к ним — с треском ломаются. С уходом солнца с карниза сразу же перестало капать. На склоне Медовой Груши, к которому подползла синяя тень от Чрагтата, торопясь, пока холодная тень не дошла туда, кто-то проворно обламывал ветки граба — в ветках жизни совсем не было, ломались от одного прикосновения. Мальчик слышал, как падали на землю ветки и тихо, как услышанное во сне и сохранившееся в памяти, доносился до него почти немой, молчаливый разговор того, кто на дереве ломал ветки и кто на земле подбирал их. Айк, Овик, Норик, Жорик вчетвером трех коров пасли, под вечер, перед тем как солнцу уйти, они налетали, обламывали, обдирали граб — днем-то не могли, потому что на свете не только солнце и вьюга существовали, был еще и однорукий, одноглазый злой лесник... С мешком под рубашкой Овик сейчас, лавируя между солнцем, сторожем и стужей, прячется возле сараев, чтобы вместе с чрагтатовской большой тенью подойти, прилепиться к сараю и набрать соломы. Потом по дороге домой ни одна соломинка из его мешка не просыплется, не упадет на снежную чистую тропинку.

Тем не менее, рассказывая легенду про мифического Айка — это когда наш бог Айк из овинов ассирийского бога Бела в громадной корзине приносит солому для своих волов, когда идет он большими шагами и след его — Млечный Путь, ведущий с их ассирийского неба на наше цмакутское небо... рассказывая про это, учительница армянского тем не менее посмотрит на волосы Овика. Наверху, у граба, значит, Норик и Жорик орудовали. Знали, что нельзя переговариваться, знали, что сухой треск ломающихся веток сам по себе уже равен громкому разговору на все село. Но если бы Норик не разговаривал с Жориком, тот под деревом замерз бы, и ветки потому же Норик бросал подальше

от дерева, чтобы Жорик, собирая их, бегал и не мерз. А Жорик все равно — бегом подбирал, складывал ветки в кучу и, как кролик, замерзал, съжившись возле этой кучи.

Тень от Чрагтата ползком, медленно поднималась на Медовую Грушу, испуганное солнце пятилось, отступая к горе. Норик и Жорик были еще в черте солнца. В черте солнца был еще Каранцев холм и еще — кусочек дедова гумна с краю. Как прямая свечка, стояла на солнце бабка. Старый взял внуков, пошел за сеном. В коленях у старого сил никаких, внуки, те, что постарше, — девочки, а мальчики совсем еще малые дети. Добрая долина Калкары даст им пройти, укажет путь, а сено? Не разнес ли его ветер, не разворошила ли косуля, не подмочила ли вода? Нет, под дедов стог вода не подберется, но пропустит ли их Глубокая опушка, открыт ли путь у Известняков? Так и стояла бабка на освещенном солнцем пяточке гумна.

Прежде чем страшилище... ужас... отбирающий топоры и веревки... прежде чем показался бы одноглазый-однорукий и прежде чем его тень возникла бы на Каранцевом холме и потом перекинулась бы на Медовую Грушу, мальчик понял, что тот за холмом, подбирается крадучись, прячась за домами, и нагрянет сразу, как клинок всадит... Но еще раньше мальчика его невидимое присутствие почувствовала бабка и на солнечном своем пяточке ничего не сделала, ничего не сказала, но Жорик и Норик мгновенно притихли-притаились, один на дереве, другой под ним. И их веревки притаились, и два вороха грабовых веток притаились. Как бабка сейчас, точно так же наседка своих цыплят об опасности предупреждает, так рыба с малыми рыбешками разговаривает. Они не были ее внуками, но были детьми, а она была бабка и плохо видела и не различала своих и чужих, и таким образом все были как бы ее внуками.

— Ну что ты встрял тут, пугало, пожалей хоть красное солнышко, — сказала бабка, хотя однорукий-одноглазый еще не показался и его плоский, словно из жести вырезанный облик еще не ступил на Каранцев холм. — А что ему, дереву, сделается, придет весна, пустит лист, — сказала бабка. — Дети ведь. Где их отцы, куда ты их увел, отвечай!

А он не уводил их отцов, его самого увели еще

в ту, старую войну, отрезали руку, выкололи глаз, сделали на всю жизнь злым и швырнули в село... Но бабка, сказав свое, стоя на освещенном пяточке своего гумна, прямая, как горящая свечка, тут же о нем забыла. Но он-то уже устоялся на холм, его страшная тень уже приковалась к Медовой Груше, где возле маленькой своей охапки грабовых веток, как зайчик, затаил дыхание Жорик и на дереве окаменел Норик.

Он и мальчик однажды чуть не столкнулись. Салазки уже набирали скорость, и знобкий восторг от этой скорости уже подрагивал в мальчике — и вдруг прямо у подножия спуска появился он. Мальчик ужаснулся. Так с салазками и должен был скатиться к нему в лапы. Мальчик вслепую, на лету всадил топор в землю и сам вцепился в топорнице, да так и остался на снегу, распластаный. Потом увидел, что лежит раскоряченный, уткнулся лицом в топор, держится за топор обеими руками, сам-то лежит, а санки, вздымая снежную пыль, летят вниз, и собака с лаем бежит рядом с салазками, потом мальчик бежал по лесу, он спрятал топор под снегом, побежал дальше, потом подумал, что нехорошо спрятал, вернулся, чтобы перепрятать, но топора не нашел... и потом все бежал и бежал к Долгим землям, где не было снега, а была низкорослая дубовая поросль и можно было не бояться оставить след и издали бы его никто бы не разглядел, потому что холщовые штаны и рубаха мальчика были крашены дубовой корой и были того же цвета, что и лесок. Мальчик тогда пришел в село задами, он прошел гумна и возле сараев встретил Овика, и они побратались.

Мать вышла из дома с ведром через руку, держа в руках большую зеленую миску. Она сошла с балкона, сделав вид, что не видит мальчика, прошла в погреб, и мальчик услышал, как хлюпает и льется рассол, потом она набирала в ведро картошки, мальчик слышал, как ударяются картофелины об ведро, потом она вышла из погреба, прошла, нагнувшись под карнизом, и, толкая ногой балконную дверь, не выдержала, обратила к мальчику лицо, и, как обиженная девочка, мать замкнулась, ушла в себя. Дверь ей открыл брат, успев из-за миски с соленьем метнуть взгляд на старшего брата.

Солнце спрыгнуло с Каранцева высокого холма,

и сатанинский облик лесника тут же сгинул. Но он был там. Уменьшился, потускнел, сошел на нет и солнечный пяточок на дедовом гумне, одно, последнее мгновение, освещенное солнцем, оставалось в свету бабкино лицо, потом и оно погасло. Бабка сказала, наверное, про себя: «Не идут что-то», ей показалось, сама она уже в доме, стоит возле печки, похлебку-танапур помешивает, но она стояла на краю гумна среди наступившего полумрака одна.

Приглушенный, словно в рот кляп загнали, словно кость под кожей дробят — такой вот треск доносился. Норик ломал ветки граба, зажав их в кулаке, но его ладонь не была мягкой, надо было шапкой, в шапке надо было ломать — вот так, вот так, вот так. Обломанные ветки так надо было с дерева бросать, чтобы они молча втыкались в землю, мальчик бы так сделал.

— Это кто там, а?! — прогремело с Каранцева холма. — Это чей там щенок на дереве кукушкой засел?!

На холме Медовой Груши тихонечко засмеялись, и треск возобновился, словно заяц дерево грыз, — безостановочно, с одинаковым интервалом. Норик обламывал, прямо-таки оголял деревце граба. К сухим, безжизненным этим веткам коровы в первые дни не притрагивались. В хлеву, наложенные перед коровами, ветки эти от коровьего дыхания отходили, немного набухали, и тогда коровы медленно, не спеша начинали их перемалывать. Вы там кричите в своем мраке сколько хотите, даже из ружья палите, отберите все топоры, все мотыги, все ножи и веревки — мальчишья наша армия все равно будет кормить корову и, посаывая эту корову, — жить.

Караван деда с внуками двигался тем временем к дому. Были они еще далеко — дальше Глубокой поляны и даже дальше Известняков, и быстро, пока солнце не ушло, двигались к дому. Дед летом накосил траву. Косил серпом, поскольку косой косить ему не под силу было. Потом косил косой, поскольку серпом не под силу было. Все лето дед косил, но работы тут всего-просто на час было. Настоящий работник, он бы сел, съел барана, встал и скосил бы все это ровно за один час. А дед все лето косил... но ведь скосил же. На своем старом, своем сочном, мягком покосе в Ка-

менюках — одно только название — Каменюки, а пощи, и семи камушков для детской игры не найдешь — там-то и кряхтел дед все лето. Дед еще сказал: «Андраник, Симон, Акоп... где вы? Не одолею никак...»

За то, что мучает детей, дед ждал с неба соответствующей кары, но вязанки все же связывал крепкие, надежные. И, пустив вперед Валодика, сказал: волки когда на промысел выходят, впереди всех дорогу в снегу пробивает мальчик, потом сестрички его следом идут, а уж после, в хвосте, старый дед плетется. Э, сказал дед, персидского шаха караван точно тем же манером идет — впереди детеныш, после сестренки, а позади старая, ни к чему не пригодная верблюдица, которой не сегодня завтра сдохнуть пора... А что, сказал дед, я и про шаха все знаю, думаете, я в школах не учился? А ну-ка, «вэ» — Валодик, «е» — Елена, «эс» — Сохак, «дэ» — дед...

Дед покряхтел, связывая вязанки, но над хилостью Валодика не стал плакать, потому как для того, чтобы горевать, тоже свои условия нужны, вот и пускай горе идет к тем, у кого эти условия есть. Дед сказал детям — идите, что встали. Дед нес легкие деревянные, за шестьдесят лет отполированные в руках вилы о двух зубьях, дед оперся на них, захотел посмотреть, что там впереди помешало детям идти, дед оперся на вилы, но поскользнулся, снова оперся и снова поскользнулся... опершись на вилы, как на посох, дед поднялся повыше и посмотрел поверх ноши и вдруг сплюнул: «Тьфу, плевал я на твою честь, падаль ты этакая!» С лицом, затерявшимся в бороде, он приложил палец к губам: молчи!

Валодик потом дома сказал, все равно как пьяный медведь... Грайр испугался и сказал — а какой он бывает, пьяный медведь? — А это когда голова между ног болтается, он идет-идет, а голова с шеи так и хочет слететь... Арменак ему сказал — ты видел такое? Валодик отвел глаза и сказал — не-а. И Арменак сказал — ты видел, вы видели, я знаю.

Через одну весну и одно лето, осенью, его убили, но дед с Валодиком, когда про это узнали, переглянулись, а сказать ничего не сказали. Сохак к тому времени уже вышла замуж и ничего про это не помнила, она вспомнит об этом, когда будет рассказывать сказки детям, Елена, та с матерью, с тетками ткала свой нарядный

свадебный ковер, мужские эти дела ее не интересовали, а дед с Валодиком переглянулись и ничего не сказали. Чтобы изловить его, каждый раз направлялся в лес карательный отряд, но его не каратели убили — его подбил Мурад, небрежный, неряшливый, щедрый и веселый Мурад, тот, который и поесть любил, и поплясать, и ругался смачно, не стесняясь ни женщин, ни детей, этот самый Мурад со словами «я твою кровь... да разве ты сам себя не жалеешь, со страхом в душе живешь» подбил его на дереве, и он свалился, а во рту у него был пресный домашний сыр, тот, что как веревка плетенный, а потом его везли на телеге, как обезьяну в кино, Мурад сказал «столько лет дышаешь от страха, разве ж это жизнь» и выстрелил. Мурада арестовали, подумали, что их много, и Мурад тоже один из них и убил его, чтобы замести следы. Но суд одно только выяснил: что Мурад небрежен и расточителен, когда дело чужих жизней касается, а свои тюремные денечки очень даже оплакивает... ничего другого суд не обнаружил.

Этой же самой осенью дед купил лошадь у дсеха-лесника Алхоенца Адама. Крепкую, добрую темногнедую лошадку, которая обижалась, когда ее пускали рысью, к иному потому как привыкла, должность лесника обязывала к грозной стремительной скорости — из Цмакута в Дсех, из Дсеха в центр. Армик сказал — как лошадь зовут? А так и зовут, сказал дед, лошадь, она у нас работать будет, Валодик с Армиком будут учиться, а она — работать. И тогда Валодик удивился совсем как дед: вуэй, так и скажи тогда, что имя ее — Алхо.

А спустя еще немного времени пленных румынов освободили, отпустили из леса Ованеса Туманяна, и еще больше даже, чем сами румыны, облегченно перевел дух отец. С Алхо вместе отец ушел на заработки к азербайджанцам и вернулся оттуда с пшеницей и ячменем. Запахло хлебом. Еще немного, еще немножечко — и из полной, глухой безвестности вернулся старший дядя. О том, где он был, ничего нам не рассказывал, просто вернулся. Так в нашем квартале Мнацаканянов забывались, можно сказать, следы от войны, на склонах Медовой Груши резвились ягнята, козленок нашел камушек и встал на него, сестра отца, вышедшая замуж в Дсехе, приехала к нам погостить,

младший дядя прислал из армии письмо и фотокарточку, и лицо его на этой карточке было по-армейски серьезное и по-мнацаканяновски любимое... была ясная, светлая весна, и сын старшего дяди Валодик рассказал.

Медведь шел-шел и ронял голову, шел-шел, а голова у него почти уже по земле волочилась. Беглый человек приближался к нему, чтобы добить, — медведь рычал и грыз штык. И снова медведь шел и ронял голову. Такое — чтобы медведь грыз штык — дети с дедом один только раз видели, но было яснее ясного, что позорную эту дорогу он прошел именно так: медведь все поворачивался, чтобы задушить его, а он, подыхая от страха, штыком царапал медведю десны, и ни разу за это время не прогрохотал его могучий карабин, потому что прогрохочет — и что тогда?.. мол, вот он, я, беглый, здесь, идите, берите меня, так, что ли? Зажатый между двумя страхами — перед карательным отрядом и перед медведем — он не имел права пальнуть из своего карабина. Его огонь для шашлыка не мог уже запылкать и дым честной победы не мог податься столбом к небу — медвежье мясо он должен был глотать сырым, да, сырым, а потом молча корчиться от колик. Он ел снег и приставил палец ко рту — тише, мол, меня здесь нет, вы меня не видели. Приподнявшись на цыпочки, опершись на вилы, дед поглядел на окровавленную дорогу — а как же, мол, дорога-то от самой Калакары, от дубняка до Кошакара? А он поднял глаза к небу — может, дай бог, еще снег пойдет и заметет наш позорный путь. Медведь шел-шел и хватал ртом снег, и беглый тоже — зажав в кулаке снежок, жадно сосал его.

Дед сказал — жизнь — она на тысячу ладов бывает, у этого она такая вышла. Свободно, вольно поет родник, тучу молния прошивает, и ветер выбегает из-за скал и пригибает к земле деревья, и вековечный тысячетелный дуб, не постеснявшись, оплакивая себя, гибнет... Валодик-то сказал — вуэй, жизнь — она же не музыка, это музыка на разные лады бывает, свирель. А дед сказал — свирель, как же, звонко, радостно играет, но его свирель больше не запоеет, не вскрикнет, не заиграет.

...Их усталый караван пришел домой. Тихо шелестело сено, и было слышно, как ударяются об землю дедовы вилы. Они молча, чтобы коровы не услышали и не стали бы ждать корма, поместили сено в хлеву на чердаке, и во мраке не разглядеть было, много они принесли сена или совсем ничего и мучения их ради чего были. И боженька деда и бабки не увидел, надо полагать, во мраке, как дед нагрузил-навьючил своих девочек — внучат, как веревка стерла им шеи, как она им в плечи врезалась, потому что, сколько девочки ни подкладывали сена под веревку, все равно веревка нещадно врезалась в их девчоночью нежную кожу, и царапала, и натирала, и щипала, и раздирала им плечи, а слово стариков гласит: девушка столько в доме отца солнышка видела — то и видела, в мужнем доме ей, все одно, жизни не будет.

Но все же сено лучше, чем грабовые ветки, сено все же мягче, когда сено — от веревок только больно, и еще если в сене бурьян есть, с его почти что металлической сердцевинкой, но в скошенном дедом сене колючек и бурьяна быть не могло. И потом, от сена спине тепло бывает. А ветки граба, может, и нагреваются от твоей спины, но сами спину не греют. Холодные, твердые, как твои ребра, ветки граба царапают тебе спину, с какой-то чисто детской изворотливостью ты ерзаешь, уносишь позвоночник из-под острых сучьев, но те снова находят твой позвоночник. Ты уже большой, тебе одиннадцать лет, и если ты смог так приладить вязанку к спине Жорика, что сучья не впиваются малому в спину, это уже хорошо, а сам ты уже большой, ты и потерпеть можешь, если больно.

Медленно пробираясь во мгле, Норик с Жориком приближали свои вязанки к дому. Печка их остыла, никто их не ждал, никто не мог их похвалить, никто не должен был взять в свои руки их озябшие пальцы и растирать их и отогревать — их мать была в больнице, Овик промышлял возле сараев, а отец ушел на заработки к азербайджанцам — в Кры.

С ведром в руках Грайр вышел из дома, из раскрывшейся на минутку двери дохнуло печеным картофелем, Грайр подошел к мальчику и попросил его шапку, и, когда он отошел и был уже порядочно далеко, мальчик заметил, что брат дал ему картофелину. Мальчик размахнулся и бросил картофелину

брату в спину, попал он или нет, но тот вскрикнул и побежал, громыхая ведром. Вот так, не переставая кричать, пока ведро не наполнится, и, возвращаясь, он будет кричать. Он говорит, что не от страха кричит, а чтобы спугнуть холод. На дороге к роднику у него есть свои особые места, он опускает ведро на землю и кричит, потом меняет руку, и другая, свободная его рука вспархивает, ведро он несет, согнувшись в три погибели, но по воду все равно он идет, особенно если воду будет пить мама.

В доме зажглась лампа, и мальчик увидел, как сестричка припала к окну и высматривает его. Когда мать зажгла лампу, девчушка потеряла из виду брата, окно было запотевшее, она ручонкой расчищала чистое место и прижималась к этому месту носиком, но стекло от ее дыхания тут же снова запотевало.

Брат вернулся, поставил ведро на балкон и пришел отдать мальчику его шапку. Мальчик шапку взять не захотел, но брат подумал и решил надеть шапку мальчику на голову. Мальчик шапку с головы стянул и — хлоп оземь. Брат поднял шапку и посмотрел на мальчика совсем как собака — подбородок в сторону, взгляд то ли снизу, то ли сбоку, не поймешь.

Свету в лампе прибавили, и мальчик с братом оба поняли, что идет отец. Шапка теперь была в руках мальчика, а брат заходил в дом...

Но еще раньше матери, мальчика, брата и девчушки присутствие отца почувствовала тетка Шушан. «И-и-и, — прокляла она их громко, — кто моей птице ногу переломил, пускай того...» И замолчала, и прислушалась. Она пока только разведку производила, от дверей своего дома она слышала мужские шаги у Медовой Груши, но не совсем еще была уверена, что отец там. «Ахчи, — посетовала она, — ногу моему гусаку перебили, еще и смеются, пожарьте, говорят, съешьте, а то, говорят, нам дайте, мы пожарим». На улице никаких таких «ахчи» не было, это она так отцу мальчика рассказывала о случившемся, потом она замолчала, подождала ответа с той стороны склона. «Оглохли, — сказала она, — не слышат, не человек будто с ними говорит, понятное дело, женщина без хозяина, презирают».

Отец молчал, потому что нельзя, ну, нельзя было находиться в этом вдовьем селе и уж тем более нельзя

было говорить «вот он я». Пройдет еще много лет, пока отец поймет, что этих сирот не он лишил отцов и этих вдов не он лишил мужей, что не он погубил своих товарищей — война, и перестанет стесняться того, что жив.

«Нету их,— взвилась Шушан,— сгнули, перевелись вмиг, оглохли, не слышат ничего».

Мать открыла окно и собиралась отвечать ей. Но не ответила, так же молча затворила окно.

«И-и-и, чтоб вот так вот и онеметь вам навеки,— прокляла их тетка Шушан,— так чтоб и сидели, как в тюрьме, да боялись на свет божий показаться».

«Что случилось, ахчи,— не выдержала, снова открыла окно мать,— ты с ума сходишь, разоралась что?»

«Запирайтесь,— сказала тетка Шушан,— закрывайтесь и наслаждайтесь, огонь в очаге горит, дети все целы, муж как стена, о несчастных обделенных ты подумаешь разве, счастливая!»

«Милости просим к нам»,— сказала мать.

Покорный своей судьбе и своей ноше — как вьючная лошадь, которая только и знает тропу к дому, как глухой лемех, который задыхается в земле, как шея вола в тесном ярме, отец прошел сквозь ругань этих женщин, пронес свою вязанку, впихнул ее в хлев и сел. И так молча и сидел, не двигаясь, не развязывая веревок, молча и глухо сидел так.

Мать вышла на балкон с водой и полотенцем в руках, но он из хлева не выходил, он, казалось, не человеком был, а лошадью, которая доставила груз на место и смиренно ждет, когда ее разгрузят.

Мать на балконе дернулась было нетерпеливо, но продолжала ждать. За запотевшим стеклом, в желтом свете керосиновой лампы, лицо девчушки было неподвижно, как изображение на фреске. В желтом окне к девчушкиному лицу присоединилось лицо брата.

Мать забеспокоилась. Казалось, отец вовсе и не приходил, казалось, все это им привиделось. Незаметно, как наседка на яйцах расправляет крыло, мать шевельнулась на месте и сказала, словно не сказала, словно подумала: отец. По стеклу с той стороны капали капли остывшего пара, казалось — девчушка плачет.

И в это время в хлеву зашелестело сено: отец высвободил одно плечо от веревок. Подождал чего-то, забыл, вспомнил, еще раз вспомнил и опять забыл, что хотел высвободить и другое плечо тоже. И продолжал сидеть.

Мальчик услышал «отец» и не понял, у него в сердце это прозвучало или же голос матушки был. Мальчик заплакал. Мальчик не всхлипывал, не захлебывался — молча давился слезами. Мальчик плакал и вспоминал их восхождение на гору: отец шел, и он шел, отец ногой швырнул снега на голую землю, он и отец вместе засмеялись над одноруким, отец так разделал граб, что ствол даже не дрогнул, как равные братья, они с отцом разглядывали след беглого, потом ветер хлестал, прямо-таки раздирает на отце кожанку, а красное облачение мальчика переместилось на ослепительно белый, освещенный солнцем склон. Мальчик не достоин был нести в себе эти картины. Было бы честнее, если бы мальчик шаг за шагом прокрутил про себя бы свое бегство, но его существо ничего от этого бегства не взяло, мальчик никак не мог вернуть себя к этому.

Отец прошел к дверям, и сладкий запах сухого сена и разгоряченного тела коснулся мальчикова лица. Но это тоже, это тоже не принадлежало мальчику, не его было, мальчик был не достоин всего этого, и он затаил дыхание, чтобы не вобрать в себя эти сладкие запахи.

Мать распахнула перед отцом дверь на балкон, но он на полпути остановился и на балкон не поднимался. Он медленно, с трудом, словно воловью шею скручивал, словно дуб к земле пригибал, вот так вот он выгнул руки и попробовал снять с себя кожанку. Он забыл или не смог это сделать — кожанку с него мать сняла, и даже она с трудом сняла, кожанка словно пристала к его спине.

Он взял с перил бадью для умывания, закинул голову и стал пить. Его запах заполнил все: от дверей дома до дверей хлева и от хлева до... да что говорить, всю неделю должен был стоять этот дух здесь, а он, глухой и слепой к материному запрету, высасывал-пил воду для умыванья, и мальчик не мог сдерживать рыданий.

Потом он умывался, мать лила ему воду на руки, мальчик мысленно видел его одеревеневшие пальцы,

пальцы эти не удерживали воду, вода проливалась сквозь пальцы, и он тер влажными, без воды, руками шею и лицо.

Он уже вытирал лицо — медленно водил по лицу полотенцем, а мать обметала ему ноги березовым венником, отрывала от его носков кусочки льда, развязывала шнурки его армейских ботинок, но он едва ли чувствовал, что с его ботинок счищают снег и что на них развязывают шнурки: он стоял широко расставив ноги, забывшись.

Они вошли в дом. У самой двери они о чем-то зашептались, вернее, эта женщина шептала и думала, что человек этот, окутанный глухим войлоком усталости, в состоянии слышать какой-то там шепот. Но она все равно решила во что бы то ни стало обратить его внимание на мальчика, она толкнула его, но он по-прежнему не понимал, чего от него хотят, и снова она шептала-шептала и даже как будто засмеялась.

Этот шепот был о мальчике, о том, чтобы загнать его домой, гордость мальчика для этой женщины была ничто, не существовала, мать посылала этого грузного победителя-трудягу растоптать маленькую мальчикову гордость, и мальчик, возненавидевший предательский шепот и смех этой женщины — «шепчешь там ему в самое ухо,— надулся мальчик,— считаешь... считаешь, что одна ты на свете и есть».

Переступив одной ногой порог, отец стоял в дверях, и от спины его поднимался пар. На счастье мальчика, отец не понял, чего хочет эта женщина. Если бы понял и пришел и слегка подтолкнул мальчика к дому или если бы даже не подошел к мальчику, а только бы шагнул к нему, мальчик тут же повинувался бы, пошел бы в дом и возненавидел отца, в мыслях мальчик уже подчинился и уже возненавидел его и его тяжелое присутствие, которое, как нога вола, вот-вот должно было растоптать слабый росточек мальчиковой гордости... Но мальчику повезло: окаменев, отец стоял в дверях, и от его спины поднимался пар, потом отец зашел в дом.

— Отец твой зовет тебя,— сказала мать.

На что мальчик ответил:

— Зовет, так и иди.

— Тебя ведь зовет,— сказала мать.

— Не зовет,— сказал мальчик,— поди скажи, чтоб позвал.

Эта женщина молчала, она, может, сожалела о своем предательстве, а может, и не понимала, что плохо поступила — словом, она вдруг взбунтовалась:

— А что же, я виновата, что ты грамотный, а я нет?!

— Отправь корову в Дзорагех, а потом поди пригони обратно,— сказал мальчик.

Девчушкино лицо снова возникло за стеклом.

— Долго мне тебя ждать? — спросила мать.

Мальчик решил оглохнуть.

— До каких пор будешь стоять тут, скажи, чтобы знала,— сказала мать.

Мальчик не ответил.

— А чухотку схлопочешь, что я тогда буду делать? — повысила голос мать.

Мальчик попятился, еще попятился, но голос этой женщины все равно доносился, в дом эта женщина уходить не собиралась.

— Все, все, все, начиная с платья, все из-за тебя! — вспыхнул мальчик.

— Чтоб ты подох! — сказала эта женщина, но в дом все равно не ушла. Она отвела калиточку балкона, прошла вперед и растерянно остановилась, и в это время мальчик сказал:

— Оставлю все и уйду отсюда.

— Сено тащить не твое было дело,— мирно сказала мать.

— Мое.

— Тоненький, как былинка, ребенок,— сказала эта женщина,— не твое.

— Да,— мальчика прорвало,— а этот человек батрак, ваш раб, идите добивайте его, ешьте!..

— Пусть будет аферистом, как другие, пускай не мучается, я не виновата! — рассердилась она, но в эту минуту пришло спасение.

Тетка Шушан спасла мальчика. Она вышла из-за дома как-то сразу, неожиданно. Видно было, что стояла прислушивалась к спору матери и сына и поняла, что и в этом доме, где есть хозяин, имеются свои нелады и была своему открытию весьма рада.

— Ануш, милая,— сказала она вроде бы даже про-

сительно, — вашу добычу вам принесла, оцпала, выпотрошила, принесла вот. Свинью когда разделаете, вспомните про нас, а нет — так и нет, с вами ваша совесть, хотя совести у вас, сколько я знаю, нет.

Но не в гусе было дело, если б только гусь, отдала бы его и ушла, не заходя в дом; она хотела отца мальчика видеть: ее муж был другом мальчигова отца, когда-то давным-давно, в славные времена, стояли небось возле изгороди усталые, переговаривались, перед тем как разойтись по домам, поджидая мужа, она со своего двора слышала их голоса, но слов не различала, почувствовала тоску по тому летнему теплому вечеру, полному усталости, и захотела войти в дом к мальчику и понять, как это случилось, что был муж — и нет его... О том вечере она бы не стала говорить и просить мальчигова отца починить ее развалившуюся дверь тоже не собиралась, она не поглядела бы даже толком ему в лицо, даже в сторону тахты, куда он прилег отдохнуть, она бы не посмотрела: она бы замялась, как маленькая растерявшаяся девочка, встала бы у стены, потупившись, а Грайр и девчушка разглядывали бы ее от своего окна. Вот так бы она простояла немного, на отца бы мальчигова не взглянула бы, не расслышала бы, что он ей говорит, пожалуй, только его дыхание бы смутно уловила и то, как от него пахнет, и убежала бы вдруг в слезах, сорвавшись с места, словно ее в этом доме обидел кто. А пока она стояла перед дверью этого удачливого дома и, как милостыню, разрешения спрашивала у счастливой мальчиговой матери.

Мать силой втокнула ее, провела в дом, словно Шушан сама того не хотела. Лицо девчушки отодвинулось от желтоватого окна. Из дома Данеланцев вынесли малого ребенка пописать и подбодрили его, какой он, дескать, храбрый: от одного только его голоса и волки и медведи замерли в своих логовах, а ну-ка пусть он крикнет... крикни-ка разочек... пронзительный крик ребеночка ударился об чрагатовскую чашу и воротился эхом назад, а потом остались на свете молчаливые звезды в небе и озябший мальчик.

Из хлева доносился горячий храп, к окну снова приплюснулось девчушкино лицо, за чрагатовским лесом упала звезда, и на свете остался один только мальчик.

Тетка Шушан пулей выскочила из их дома, она

забыла про мальчика, что он на улице, и громко чертыхнулась: «Чтоб тебя, муж у меня, говорит, есть, не говорит небось, что развалина» — и пошла быстро-быстро, снег поскрипывал под ее ногами, она спустилась в овраг и, не успев еще дойти до своего дома, уже затосковала по всему, что видела: «Чтоб твою счастливую головушку».

На мгновение окно потемнело, мать, значит, горячей воды налила в корыто, чтоб ноги отцу помыть, и окно охватило паром. Девчушки больше не было видно, наверное, спустилась с тахты и крутилась возле корыта — может, мать разжалобится и позволит, чтобы дочь помыла отцу ноги. Вдовы женщины приходят посмотреть на этого мужчину, все в доме хотят мыть ему ноги, женщины на зимовье с сожалением увидели, что он кончил чинить ворота, уже прилаживает их, сейчас уйдет, значит.

Потом мать вынесла грязную воду, выплеснула ее и молча вернулась в дом. Лицо девчушки снова объявилось за стеклом, которое снова немного потемнело, — ага, на середину стола, значит, в большую зеленую миску вывалили дымящуюся, сваренную с солью картошку и сверху посыпали сушеным тимьяном. Грайр, конечно, уставился на разваренную, почти рассыпающуюся картофелину, если отец не возьмет ее, Грайр все равно не возьмет ее, Грайр все равно не возьмет тоже, потому что подумает, что отец специально для него ее оставил, так они и будут оставлять ее друг для друга, так никто и не съест эту картофелину — ни мать, ни девчушка, ни Грайр, ни отец.

В далеких ущельях, тех, что за Чрагатом, а может, внутри у мальчика провыл волк, поведал о пустом желудке и одиночестве. Долго и горестно выл. Замогчал. Подождал и снова провыл над холодными безлюдными пространствами. Он не стеснялся, свой зов голодного одиночки он посылал поверх замерзших пустых пространств другим таким же голодным одиночкам. Потом от Кошкара и от Чрагата к Касаху должен был прогреметь их мощный хор голодных одиночек... ауууу... сказал про себя мальчик и прислушался, знал потому что: сейчас откуда-нибудь донесется это — ауууууу...

Эта старая усталая земля под Млечным Путем от холода пошла трещинами, каждый выполнил свой долг

перед другими и теперь в своем маленьком очажке лелеял свой маленький союз.

Окно замерзало, и даже дыхание девчушки бессильно было растопить быстро затвердевавший лед, и девчушкина ладошка уже не расчищала мутное стекло, на стекле оставался только маленький чистый кружок, который быстро уменьшался и делался мутным, и девчушкин ноготок — будто бы тайком от матери — не сколупывал больше иней. Девчушка вглядывалась в кружочек, и снаружи к ее глазу приближался чужой мутный глаз, она с трудом удерживалась, чтобы не закричать от страха, с трудом вспоминала, что это ее собственный глаз, что это отражение, и тут же про все забывала.

Мальчику она мешала. Мальчик, его худая спина, все существо его давно уже знали: как заговоренный, незаметно для себя самого он очутится возле отцовой вязанки в сеннике и, прикорнув, задремлет в отцовском тепле. Мысленно мальчик уже был там, уже прижимался спиной к сену, но девчушка мешала, не давала ему уйти, и он удерживал себя на улице ради девчушки.

Жизнь сделала свое. Обманывая самого себя — мол, сестричка все равно уже его не видит, понимая, что обманывает себя, и снова уговаривая себя и не поддаваясь этим уговорам, он как-то забыл и про сестричку и про самого себя и вдруг увидел, что стоит на пороге сенника и что его рука и колено толкают дверь. Дверь не была заперта на задвижку, будь она закрыта на задвижку, мальчик бы и тут простоял вечность, но дверь распахнулась перед ним с тяжелым прерывистым скрипом... пусть дома слышат этот скрип, пусть успокоятся.

В темноте мальчик задел за салазки. «А ну вас!» — мальчик отшвырнул их ногой. Потом мальчик стоял возле сена, прижимался к нему и ждал, когда согреется. Мальчик не сразу понял, что сено после отца успело остыть. Мальчик увидел, что кружит вокруг сена, ищет, куда бы приткнуться, и всхлипывает без слез. «Тише, ни звука, ни звука! — приказал он себе. — Тихо».

Теплое дыхание скотины ударило его в лицо, и он понял, что входит в хлев. «Если ты человек, не ходи туда», — сказал он себе, но вошел и с ног до

головы окунулся в тепло. Мысленно он еще ссорился с сеном, «не хочешь согреть, и не надо», — говорил он вязанке.

Поверх перегородки на него смотрели молчаливые глаза козы, из пластов жира, из дремы и довольства умиротворенно хрюкнула свинья. Свинья, значит, еще была, ереванский жулик, который то и дело облизывал губы и улыбался, еще не объявился и не обманул их, не наплел, что он прямо из банка, что в декабре 47-го деньги не поменяются, он еще не дал отцу пачку старых, никому уже не нужных бумажек и не унес их свинью и щедро, не переставая улыбаться, не кинул матери старую кожанку, наврав, дескать, что ее красный комиссар в свое время носил. «Износу не знает, — сказал ереванский жулик, — намажешь салом, как новая будет». За эту пачку денег в селькоопе им дали кусок мыла и кило сахару. Но что же в таком случае было надето на отца? Отец, нет, не раздетый был, когда пошел через снег, чтобы срезать граб, и когда стоял на солнце, перед тем как им расстаться, и когда снял с себя вязанку и зашел в дом, засыпая на ходу, он не был раздетым, вовсе нет, на худощавой широкой спине отца была какая-то одежда... Не шинель солдатская, отец вернулся с фронта в летней военной рубашке, ни на себе, ни в карманах — ничего с войны не принес, одни только свои большие руки да высоко вздернутые плечи...

Коза. Свинья. Третьим существом в хлеву была корова, четвертым — телок, пятым — мальчик. Еще — теленочек в животе у коровы. Мальчик пробрался и устроился между телком и коровой, он уткнул ноги телку под живот, и телок вздрогнул и поежился от холода, спиной он прижался к корове, руки сунул себе под мышки, и в это время тот, который был еще в животе матери, шевельнулся. Он совсем уже обжился в животе матери, мать принадлежала ему безраздельно, он играл в животе матери, а рядом были — грелись и задремывали — мальчик и бычок. Корова повернула голову, приняжалась и позволила, чтоб так оно и было. У мохнатого большеголового серого бычка в верхнем углу хлева было свое собственное место и своя привязь, но он не любил это место и, высвободившись от привязи, приходил, ложился рядом с матерью. Дома думали, что он тайком потягивает молоко у матери,

а он просто ложился рядом с матерью, которая уже не его была, а того, другого, что в животе ее сидел, и все же его тоже. О ленивом большеголовом этом лохматом сером бычке, который любил тереться лбом об ноги мальчика, отец говорил, что он вырастет и станет красавцем, а мальчик никак не мог себе этого представить. От бычка пахло серой. Мешаниной из масла и серы мальчик сам смазал ему лоб и за ушами помазал, потому что это он, мальчик, заметил, что у бычка какая-то чесотка, потом в школе от его рук пахло серой, и математичка поморщилась однажды, почувствовав это.

Бычок был в их хлеву, лежал рядом с их коровой и думал, что он их бычок, и брат с сестричкой тоже думали, что это их бычок, но он не их был. Однажды осенью бычка потащили к конторе и заставили подняться на государственные весы. Грайр тогда заплакал, но оттого что кругом был народ, осекся и замолчал, потом, когда они с бычком возвращались домой, он снова заплакал, и поскольку брат плакал, подросток по имени Армо, Армик, Арменак Мнацаканян не позволил себе разреветься, но в нем набухла какая-то ненависть, отчего все вокруг делалось безобразным,—ненависть к инспектору, к людям, которые стояли в центре села и были как бы добровольными сообщниками этого инспектора и ржали и скалили зубы, потешались над телками и над их хозяевами и над собой заодно... В мальчишке росла ненависть к этим весам, на металлическом помосте-чаше которых дрожал их бычок, и в мальчишке было отвращение и презрение к этому бычку, который дома в хлеву, рядом с матерью,—спокойное и неторопкое существо, а оказавшись на весах, чуть не дух испускал на виду у всего честного народа. Бычка взвесили, ровно 75 кг весил, его веревку швырнули мальчику прямо в лицо: «Ну что стоишь кислый, пошевеливайся давай!» Но почему-то после всяких подсчетов-расчетов бычка не погнали в город на бойню. Точнее, председатель колхоза, улыбаясь, поскольку думал, что надувает инспектора, дал для бойни быка в полтонны (500 кг) и взял обратно, уберег семь бычков общим весом в 500 кг, на один год вернув этих бычков их хозяевам, до следующих мясозаготовок. Одним из семи телят был этот. Следующей осенью его снова должны были водрузить на весы и погнать

на бойню или в лучшем случае — в колхозное стадо.

Корова тоже не их была: ежегодно от ее теленка, от девчушки, Грайра и мальчика отнимали шестнадцать килограммов масла (если бы две коровы были — то тридцать два килограмма, если три коровы — сорок восемь), шестнадцать кило масла взвешивали на весах и отправляли в город, городским детям — Степику, Перчику, Алику... А Айк, Овик, Норик, Жорик выросли, запивая соленый сыр родниковой водой: я этот сыр видел потом в городе на базаре, 50 копеек стоит кило и никто не берет, да и впрямь, зачем его брать, такой сыр... А Армо, Армик, Арменак Мнацаканян вкус масла впервые узнал в девятнадцать лет, когда был студентом университета, и кожаные свои первые ботинки надел в двадцать четыре года. Если корова подыхала стельная, шкура все равно не их была — их было только право огорчаться по этому поводу. От этой коровы ежегодно посылалось в город Степику, Перчику, Алику семьдесят пять килограммов мяса, чтобы они ели, благоденствовали и с сытым благодушием поясняли своему университетскому товарищу и дальнему деревенскому родичу Арменаку Мнацаканяну, что независимость и благополучие одних не должны осуществляться за счет рабского неблагополучия других, что потребительское отношение к жизни недопустимо и что смысл выражения «деревенский идиотизм» заключается в том, что тебя грабят, а ты не ропщешь, тебя обдирают, а тебе и невдомек, у тебя телка отбирают и на твоих глазах уминают, а ты смотришь им в рот, балда балдой. От коровы каждый год 75 кг мяса берут — то есть по телку, который рождается с болью, за которым смотрят и ходят с любовью и девочки к его хвосту ленту привязывают, а мальчишки ему на шею колокольчик вешают, и вот осенью его отрывают от коровы и от детей, и это больно...

Лес был не их.

Покосы не их были.

Коза их была: когда в последний раз приходил налоговый инспектор и зарегистрировал два улья, две яблони, три грушевых дерева и семь сливовых, когда он пересчитал всех кур и вот-вот должен был пройти в хлев, мальчик прополз в хлев раньше него и шапкой

закрыл козе глаза. И коза не мемекнула и в списки не попала.

Их — быть рядом с козой, телком, деревом, коровой. И они — были, пока еще были.

Благодаря дальновидности их пронизательного... их хитрого... их умного... умного? — этого клоуна... этого шута... этого афериста... того, кто знал, где встать, чтобы жрать, но не быть сожранным... благодаря пронизательности их деда Степан, Перч и Алик Томцяны не пошли со своим отцом в горы, не попали в лапы бурану и не бежали от него позорно. Они не смотрели друг на друга собачьим взглядом, нет, они не уподобили человеческий взгляд собачьему, слово «собака» звучит в их палатах как ругательство — их белые лица при этом розовеют. Про свою мать они никогда не скажут — эта женщина, это тоже равносильно ругательству. Они произошли от того же мнацаканяновского корня, но отшлифовались, побелели с лица — и стали другой человеческой породой, другим видом.





## ЧУЖАК

---

**В** классе был Самад, был Мадат и был Амрхан<sup>1</sup>, но Турком или Чужаком мы называли Артавазда. Тогда я не знал, почему мы его так называем. Теперь знаю. Его братья, родившиеся до него, дожив до года, почему-то умирали, и старухи посоветовали его матери дать следующему ребенку турецкое или курдское — какое-нибудь необычное, чужое имя. Будто бы смерть можно было обмануть, будто бы она не разобралась бы, что под чужим именем прячется армянский ребенок. Так или иначе, решено было обмануть смерть и отправить ее обратно с пустыми руками. И вот отчаявшиеся мать с отцом назвали следующего ребенка то ли

<sup>1</sup> Турецкие имена.

турецким, то ли курдским именем — Артавазд. Назвали и притаились, стали ждать. Какой-то прохожий, прислонившись к их плетню, попросил у его матери стакан воды, а когда выпил воду, напроорочил долгую жизнь грудному младенцу на ее руках. Мать покачала головой и сказала, что ребенка нарекли чужим именем, потому что... Но прохожий улыбнулся светло-пресветло и сказал, что никакое это не чужое имя, а самое настоящее армянское. Мать с новорожденным на руках окаменела от ужаса, отец обреченно ахнул и сел под яблоню. Вот как было дело.

Имя оказалось армянское — ребенок, однако, не умирал, жил. Вот этого-то Артавазда мы в классе то Турком называли, то Чужаком.

Мать Чужака была уборщицей в библиотеке, она подметала пол, приносила воду, стирала пыль с книг и обратно книги на полки запихивала вверх ногами, потому что была неграмотная. Как-то она унесла из библиотеки старый матерчатый плакат, на котором известью было выведено: «Смерть фашистским захватчикам!» Она принесла этот ярко-красный плакат домой, выстирала его и сшила рубашку. Сердце у отца Чужака было больное, он ныл, стонал. Ныл, стонал, но не умирал. На фронт его не брали, и он сидел дома, рядом со своим сыном. Он был единственным мужчиной в селе и стеснялся этого. Он отбирал у наших матерей топор, чтобы сделать за них мужскую работу, два-три раза бил по бревну этим топором, потом морщился и хватался за сердце. Так, постанывая и ноя, жил, был отцом своему Чужаку, помогал ему решать задачки, а наши отцы воевали на передовой. От холодного воздуха мои руки покрылись трещинами, я кое-как подавал сено нашим коровам, с грехом пополам брался за вилы и чистил наш хлев, но ручку уже держать был не в силах — когда я брался за перо, в пальцах моих начинало покалывать. У нас у всех тогда руки покрыты были трещинами, но я говорю «мои руки, мои пальцы», потому что помню мою боль. Мое тело помнит только свою боль.

Когда Чужак вошел в класс в новой красной рубашке, мы все подумали, что это девочка. Потом увидели, что это Чужак, что он надел красную рубашку и что все мы в классе сплошь коричневые, потому что домотканые наши шерстяные одежды одного и того же

коричневого цвета. Мы спускались вдоль реки, доходили до лесопилки и обратно шли с охалкой дубовой коры: наши матери красили ею шерсть в коричневый цвет. Мы все в классе сидели коричневые, а Чужак, видите ли, явился в красной рубашке. На секунду мы приумолкли, у всех нас в голове пронеслось, что отец Чужака ноет и не умирает, а мать выкрала из библиотеки красный плакат, чтобы сшить рубашку сыну. Я проглотил слюну и не сказал, что его мать украла этот плакат...

— В девчоночье платье вырядился,— сказал я.

Чужак опустил свои длинные, и впрямь девчоночьи, ресницы и тоже проглотил слюну, я увидел, как заходил вверх-вниз кадык на его тонкой шее. Я пошел, сел на свое место, чтобы быть подальше от него и не прохаживаться больше на его счет. Но его красная рубашка так и притягивала глаз.

— Ты — знамя,— сказали ему ребята.

— Героическое знамя,— сказали.

Потом я услышал очень сухой голос Мадата:

— Героическое знамя своего отца.

Опустив взгляд, Чужак стоял неподвижно и не отходил от них. Пришла учительница истории, все разбрелись по своим местам, а Чужак так и остался стоять в своей красной рубашке перед всем классом, с опущенным взглядом.

— Почему не идешь на свое место? — сказала ему учительница истории.

— А он красную рубашку надел,— сказали ребята.

— Да-да,— сказала учительница истории.

Медленно, словно пробираясь через цепкую грязь, он прошел под нашими взглядами к своему месту и сел прямо впереди меня.

— Красную рубашку надел,— сказали все учительнице ботаники.

— Вижу.

— Героическое знамя своего отца.

— Нет,— сказала учительница ботаники,— знамя вашей зависти.

Как ни старалась его мать отстирать плакат, все же белые буквы кое-где проступали на красном. Потому что мыла не было, мать в горячей воде с золой стирала... Я зря начал рассказывать эту историю: кто знает, может, случится такое время, что мыла опять не

будет и белье придется отстирывать золой, как тогда. А потом в той же воде выкупать и себя. Ты не знаешь, как это может быть, чтобы не было мыла, как стирают белье золой; ты не знаешь, что такое чесотка; и ты не можешь понять, почему мы отпраплялись к лесопилке и приносили в охапке дубовую кору; ты не знаешь, что такое вошь, и вряд ли ты поймешь, почему нас всех обривали наголо. И никогда, никогда не сможешь ты представить себе постоянное прикосновение грубой шерстяной одежды к твоему голому телу, ведь мы не могли снять с себя и выбросить вон этот шерстяной покров, причинявший нам постоянное неудобство, так и впивающийся в кожу... Ты не знаешь, что такое война, и как хорошо, что ты всего этого не знаешь!

Чужак, значит, сел прямо против меня. Его красная спина, хотел я этого или не хотел, была передо мной. Как ни скребла, как ни отстирывала его мать этот красный лоскут — ей не удалось полностью вывести следы клея и извести. Я стал вглядываться в его спину, я увидел след от буквы «Ч». Потом я различил рядом с буквой «Ч» букву «И». Я сначала принял «Ч» за цифру «4», но потом понял, что это не цифра, а печатная буква «Ч». Я стал искать другие буквы и на худом его плече обнаружил половинку буквы «К». Он, наверное, чувствовал спиной мой взгляд, потому что ежился, старался сжаться в комок. Мне стало стыдно, я сказал себе, что не буду больше смотреть на его спину, на его съезжившуюся спину, на его худенькие плечи, на его тонкую шею и ямку на затылке, но тут я вдруг увидел отчетливую и ясную букву «А».

**ЧУЖАК.**

«Чужак», — произнес я мысленно. «Чужак», — сказал я еле слышным шепотом, чтобы и сказать и не сказать одновременно.

— Чужак красную рубашку надел, — сообщил класс учительнице географии.

— Война кончится — все такие наденете, — сказала учительница.

«На спине Чужака написано «ЧУЖАК», — сказал я про себя, потому что вслух говорить этого не хотел.

На перемене я и Мадат подрались. Это, конечно, была не настоящая драка и в то же время это была драка, потому что Мадат сидел на мне верхом и совал мне в рот грязный снежок. Крепко сжав губы, я вертел голо-



вой, а он от этого распался и хотел во что бы то ни стало засунуть мне в рот этот грязный снежок. Ему недостаточно было того, что он сидел на мне верхом, это не было для него полной победой, и поэтому он все делал, чтобы запихать свой грязный снежок в мой рот, и приходил в ярость от того, что это ему не удастся.

А потом пришла преподавательница военного дела.

Мы все выстроились в ряд, повернули головы налево и замерли под ее взглядом. Мы стояли так, вытянувшись в струнку, и с наших лиц медленно сходило оживление перемены, в нас затихали смех и шутка. Вот так затихали, стерлись все голоса и звуки, все улыбки и переглядки, и во дворе осталась стоять очень серьезная и немножечко напуганная шеренга бледных ребят. Брат этой преподавательницы погиб на фронте, и все мы от этого чувствовали себя немножко виноватыми перед ней. Вместе с уважением к ней мы испытывали некоторое чувство страха. Потому что, когда она смотрела на нас, каждый раз, когда она взглядывала на нас, нам казалось, что это мы убили ее брата. От недели к неделе, от урока к уроку, и даже в течение одного дня, в течение одного часа, от математики к военному делу, строгое выражение на ее лице делалось еще строже, затвердевало, и мы понимали, каким прекрасным, каким самым лучшим на свете был для нее брат, какая большая любовь связывала их и как велико ее горе теперь.

Я сглотнул слюну и подумал, что как хорошо было бы, если б вместо моей неграмотной матери моей матерью была она — я бы тогда не боялся математики и военного дела тоже не боялся.

— Что ты сказал? — прошептала она.

— Я только слюну сглотнул и только подумал, что... ничего... — еле выдохнул я, подтянулся, стал смирно и пожалел, что минуту назад хотел, чтобы она была моей матерью.

Девочки вышли из шеренги, и это означало, что она прошептала или же только взглянула на них, но взглянула так, что девочки поняли, что им приказано выйти из шеренги. В этом грязном промежутке между зимой и весной девочки напялили на себя всякие красные, оранжевые, зеленые платья — девочки наши сбились в веселую кучку и смотрели на нашу коричневую шеренгу немножечко с презрением, немножечко с лю-

бовью. До сих пор помню я этот общий взгляд этих пестрых глаз. Общий — потому что когда девочки сбиваются в кучу и смотрят на тебя одновременно, то взгляд их делается удивительным — это уже не взгляд, а какой-то аромат — аромат звезд или аромат ромашки или еще какого-нибудь цветка, потому что взгляд этот чист, и девочки смотрят на тебя немножечко с презрением и немножечко с любовью.

Она повела бровью, и наша шеренга мальчиков подтянулась.

Она медленно подняла лицо и прошла по нашей шеренге серьезным взглядом своих зеленых глаз. И шеренга поняла. Шеренга секунду молчала, потом послышался сухой, как будто камнем по камню ударили, раздался сухой-сухой голос:

— Первый!

— Второй! — метнул я свой номер тому, кто был слева от меня. Какой-то половиной взгляда я отметил коричневость нашей шеренги — в конце ее выделялась одна-единственная красная рубашка.

— Восьмой!

— Девятый!

— Десятый!

— Одиннадцатый!

— Двенадцатый!

Все? Нет.

— Трина... — послышался несмелый голос Чужака.

В глазах девочек мелькнуло что-то вроде улыбки, а учительница снова прошла своим зеленым строгим взглядом от одного конца шеренги до другого. Стояла глубокая тишина. Я слышал удары своего сердца и даже слышал, что думает сейчас номер 1-й про номер 13-й. Мне казалось, что удары моего сердца — это удары сердца номера 1-го и про номер 13-й он думает то же самое, что думаю про него я.

— Ура-а-а!.. — зазвенело далеко на Остром холме, и по всей Большой долине прокатилось эхо восьмиклассников: «А-а-а!»

Они проходили командирское искусство. Их ружья издали казались нам настоящими, их голоса сливались в один мощный гул.

Можно было подумать, что на Остром холме идет настоящий бой, который тянется по всей Большой долине к холму Подснежников. Самих восьмиклассников

не было видно, мы видели только заснеженный холм, слышали их голоса, сливающиеся в один гул, и догадывались, что они растеклись по всей Большой долине и атакуют холм Подснежников. Но холм Подснежников молчал. От напряжения на моих глазах выступили слезы. Но холм Подснежников был невозмутимо белый, и ничего там не двигалось, и мы все терялись в догадках. «Неужели неприятель в белом?» — думали мы и вглядывались, вглядывались в холм изо всех сил. А неприятель, оказывается, подошел с тыла, с того же самого Острого холма, и молча и быстро приближался к ним. Восьмиклассники кричали свое «ура», их героический клич забивал им уши, и они не знали, что это за грустное и глупое у них «ура» сейчас.

И оттого, что восьмиклассники были так глупы и недальновидны, на лице нашей учительницы появилось брезгливое выражение. И, словно это мы были наивные и глупые восьмиклассники, атакующие пустой холм, она холодно приказала нам:

— Смирно! По порядку рассчитайся!

Над моим ухом разорвалось сухое, словно камень о камень ударили:

— Первый!

— Второй! — метнул я свой номер стоящему слева от меня.

— Третий!

Сейчас она разделит нас на две группы, четных — в одну, нечетных — в другую. Чужак, интересно, четный или нечетный? Хоть бы нечетный был.

— Тринадцатый, — послышался несмелый голос Чужака.

— Четырнадцатый!

Но все они были ее учениками — и побежденные восьмиклассники, и победители-семиклассники, чьи голоса слились в один общий шум на Большой долине, а этот номер первый, Мадат, был сыном ее погибшего брата, а голос Чужака был испуганный, а шум в Большой долине вдруг погас, а мы в своих узких домотканых штанах, мы, наверное, были похожи на европейских рыцарей, мы смахивали на средневековых рыцарей, а семиклассники и восьмиклассники повалились сейчас, наверное, друг на дружку усталые и глотают снег — все это (а может быть, она увидела на спине Чужака букву «Ч»?) вызвало на лице учительницы

слабую, едва заметную улыбку. Я снова подумал, что хорошо бы, если бы она была моей матерью. Так вот обстояли наши дела — для нас ее полуулыбки значили больше, чем то, что наши матери кормили, купали, одевали нас.

— На две группы разделись!

И мы, четные, обутые в постолы, мягко шагнули. Три шага вперед и шаг влево. И я почувствовал, что быть первым даже в таком маленьком, в семь человек, ряду — что мне нравится быть первым.

— Первая группа, до Теплового ключа — бе-гом! Там есть зацветшая верба, каждый срывает маленькую веточку — и назад. Повторить!

Сердце мое встрепенулось. И было это оттого, что мне захотелось бежать, и оттого, что на нас глядели пестрые глаза девочек, и оттого еще, что приближалась желто-зеленая мягкая весна.

— Я не хочу Чужака, возьмите его из моей группы,— сухим, словно камень о камень ударили, до невозможности сухим голосом сказал Мадат.

Она медленно подняла лицо и прошептала — скорее глазами:

— Какого еще Чужака?

Мы все повернулись и посмотрели на Чужака. Он стоял в позе «смирно», но мне опять показалось, что он стоит съезжившись — и стоит так оттого, что прозвище его Чужак, оттого, что отец его ноет и не умирает, а мать украла кумач, и теперь он, как пугало, в красной рубашке. Мы все смотрели на него, и учительница смотрела. Она смотрела на него и ждала, что скажет сын ее брата.

— Чужак, Арто,— пробурчал Мадат.

— Что за Арто? — Она хотела, чтобы сын ее брата произнес имя Чужака полностью и членораздельно, и было самое время вставить: «Если бы его не звали Чужак, на его спине не написано было бы «ЧУЖАК»,— и это стало бы самой острой шуткой в школе. Эту шутку помнили бы потом долго, целый год. Но Чужак в эту минуту — когда сам я был капитаном целой команды, а девочки смотрели на нас, сбившись в кучу, и приближалась желто-зеленая весна,— Чужак мне в эту минуту нравился. И я промолчал.

— Артавазд,— пробурчал Мадат. Он сказал это через силу, и ему не понравилось, что его принуждают про-

износить это имя.— Артавазд,— сухо, словно камнем по камню провели, сказал он,— да, Артавазд, но будь он хоть трижды Артавазд, забери его из моей команды.

Учительница молча уставилась на него. Тяжелым взглядом посмотрела на него и ничего не сказала, но было понятно, мы все прекрасно поняли, что она хотела сказать. Она хотела сказать, что сейчас она не тетка Мадата, а учительница математики и военного дела.

Мадат растерялся, но продолжал смотреть учительнице прямо в лицо: все-таки она была его тетка и, кроме того, Мадат был смелый парень.

— Возьмите,— поправился Мадат,— возьмите его из моей команды.

— Простите,— усмехнулась учительница,— а кто тебе сказал, что ты капитан команды?

Мадат поглядел на команду, команда поглядела на него, и было ясно, что он их вожак. Он поглядел на учительницу, взглянул на нее пристально и не сказал «я говорю», но и не извинился, не сказал «извините». Учительница смотрела на него, он смотрел на учительницу, и никто бы в эту минуту никакими клещами не вытянул бы из него слов прощения. И учительница увидела, что вожак в самом деле он и что Чужака в свою команду брать он не хочет.

Учительница медленно опустила веки, постояла так с закрытыми глазами и высоко вздернутым лицом, и, когда она снова подняла свои тяжелые веки, в ее глазах стояли слезы, и это была просто-напросто тетка, которая видела в этом мальчике Мадате своего погибшего брата. Мы все это поняли, потому что сами в эту минуту видели в нем вожака и героя. Он был хороший капитан, он хотел иметь такую команду, в которой каждый умел бы хорошо бегать. А она была хорошая учительница, она хотела сохранить в себе любовь ко всем нам и каждому в отдельности и одновременно соблюсти военную дисциплину. Но как же это получается, что я хороший, и он хороший, и ты хороший, и все мы хорошие, а плохие вещи все же происходят?

Склонив голову набок, с тонкой шеей, с большими блестящими глазами, Чужак смотрел в сторону далеких гор и, казалось, не слышал даже. «Он не сможет бежать, отстанет по дороге»,— услышал я голос Мадата. Чужак моргнул глазами. Только моргнул глазами. «Пусть остается здесь с девочками»,— услышал я.

Чужак стоял неподвижно, ждал. Так только ягненок может позволить говорить, что сейчас его зарежут, только вода может позволить, чтобы при ней хвалили или ругали ее вкус, только яркий подсолнух может ждать, чтобы его сорвали или оставили на стебле. Красный отсвет рубашки делал Чужака каким-то непривычно красным. Он молча стоял в этой своей рубашке под нашими взглядами, молча слушал спор о себе и о собственной непригодности, и мне вдруг показалось, что он лучше всех — и этой учительницы, и этого героического Мадата, и этих девочек. И еще я подумал, что самый плохой, самый мерзкий среди всех я, потому что я позволил, чтобы они вот так обсуждали его, я допустил такое, а сам стою и всякие буквы выискиваю на его спине. Он глотнул слюну, его тонкая шея напряглась, и я почувствовал, что мне самому стало душно и невозможно дышать, что сам я уже задыхаюсь вместо него. Задыхаюсь от того, что мой отец ноет и не умирает, что моей матери дали старый плакат, и это стало похоже на воровство, что случайность прямо на моей спине выдавила слово «Чужак», что в этом сильном мире только моей силы недостает.

— Пускай Мадат идет на мое место, а я на его, — сказал я.

Учительница сделала вид, что не слышит меня.

— Пускай Мадат...

Учительница коротко взглянула на меня. «Не хотите — не надо...» — подумал я, но в ту же секунду понял, что она требует от меня военной дисциплины и обращения по всем правилам.

— Разрешите обратиться. — Я шагнул вперед, вытянулся в стойку смирно и предложил: — Прикажите Мадату перейти во вторую команду, а мне в первую.

Она переспросила едва слышно:

— Как ты сказал?

— Прикажите мне перейти в первую команду, а Мадата переведите во вторую. — И сказал Мадату: — Раз ты не хочешь Артавазда в свою команду, давай поменяемся командами.

Он окинул меня ненавидящим взглядом и отвернулся. Я растерялся. Я понял причину его холодности и растерялся еще больше. Его команда сплошь состояла из высоких ребят, а мои все подобрались маленькие. И

сам он был высокий, много выше меня, а я предлагал ему идти вожаком к коротышкам. Он, честное слово, был хороший полководец. Ганнибал, подумал я, Суворов... Кутузов... Гасан-хан. Вот увидишь, я прозову тебя Гасан-ханом. Но у него и так уже было свое имя — Мадатов. Генерал Мадатов. Так оно и будет, прозовем тебя генерал Мадатов, будешь знать...

— Ничего менять не будем,— сказала учительница.— Первый отряд, к Теплому ключу — бе-гом!

— Нет,— сухим, очень сухим голосом сказал он,— заберите Чужака из моего отряда.

— Какого еще Чужака? — закричала учительница.

— Вы знаете,— сказал он.

— А кто сказал, что отряд твой? — закричала учительница.

— А это так,— сказал он.

— А если я швырну тебя сейчас в подвал и дверь за тобой закрою? — закричала учительница.

С минуту он стоял неподвижно. Потом вышел из шеренги и зашагал к подвалу.

— Вернись! — закричала учительница.

Он даже не оглянулся.

— Бросьте меня в подвал и дверь за мной закройте,— слышался его голос.

Он уходил от нас все дальше, вниз, он уже спускался по лестнице, в этот самый подвал, уже его половина была скрыта от нас подвальной полутьмой.

Вот так, именно так уходил на свою погибель его отец, брат учительницы, чтобы не вернуться, чтобы никогда больше не вернуться.

— Вернись,— попросила учительница.

Он стоял на лестнице, нам видна была только его голова, он так ни разу и не обернулся. Спустится или вернется?

Не вернется, ни за что не вернется. Нам видна была только его голова. Его тетка отвернулась, чтобы не видеть его исчезновения, чтобы не видеть, как мгла поглотит его совсем.

— И все из-за тебя,— услышал я.

Все осуждающе смотрели на Чужака. Теперь, когда все вот так осуждающе смотрели на него, он уже не смел стоять безучастно, обратив взгляд к дальним дальям, и думать, что он не виноват,— нет, он стоял сейчас съездившись, как самый виноватый-превиноватый на

свете человек, и боялся показать нам даже единственное жалкое проявление своего протеста, боялся даже, чтобы мы увидели, как ходит кадык на его шее. Мадат уже повернулся и поднимался по ступенькам вверх — медленно поднимался, возвращался к своим генеральским обязанностям и делам. Он мне очень не понравился. И теперь, когда все с осуждением смотрели на Чужака и Чужак сам считал себя виноватым, я только по той причине, что Мадат мне вдруг не понравился, только поэтому я вдруг понял, что виноват не Чужак и что если кролик съезжился перед охотничьим псом, это вовсе не означает, что кролик виноват.

Ни тебе угрызений, ни раскаяния — он вернулся, гордо и независимо занял свое место во главе отряда и спокойно сказал:

— Прошу вас, заберите его у меня.

— Почему?

— Он плохо бегают.

— Да, — сказала учительница.

— Вот и заберите, раз «да». Он не может бежать с нами наравне. Мы не хотим проиграть из-за него.

Все это было так и только так. Но я не мог понять и до сих пор не понимаю, как это можно встать перед человеком и говорить ему, что он непригоден для того-то и того-то.

— Он не может бежать, как вы, быстро, а вы не можете бежать из-за него медленно, понятно, — сказала учительница. — Но что же мне с ним делать?

Мадат не ответил, он оглядел по-командирски свою группу и презрительно уставился на Чужака, почти что приказал ему взглядом выйти вон; это мне не понравилось.

— Ну что, ты по-прежнему настаиваешь на своем? — сказала учительница. И это мне тоже не понравилось. Учительница, казалось, была довольна, что у этого Мадата есть свое собственное мнение и он стоит на своем. Учительница повернулась ко мне: — А ты? Что ты скажешь?

Ветер летел куда-то, орел в небе парил, со скалы низвергался маленький водопад, теленок маячил вдали — что могло быть легче и прекраснее бега? Я хотел было сказать: «Возьмите моего седьмого номера и дайте мне взамен Артавазда», я уже раскрыл рот, чтобы сказать это, но вдруг понял, что Мадат этого-то и хочет. И даже

не скрывает этого. Его взгляд и весь облик с открытым бесстыдством говорили, что он победит меня, что его отряд победит мой отряд и так же, как утром, он совал мне в рот грязный снежок, точно так же он сейчас навяжет мне самого плохого своего бегуна.

— А что я? — сказал я.

— Перевести Артавазда в твою команду?

— Это почему же, например? — проворчал я. — Как разделились, так пусть и будет.

Она сказала едва слышно:

— Смирно! Ты не у себя дома, и я не твоя мать.

«И не тетка», — подумал я, хотя до ужаса боялся ее математики и прекрасно знал, что она ждет от меня более вразумительного и четкого ответа.

— Он плохо бегаёт, — сказал я.

Конечно, это было низостью, но как мне было оставаться честным и быть мстительным одновременно? Я должен был отомстить этому Мадату во что бы то ни стало.

— Минуту назад ты соглашался взять его, — сказала учительница.

Но как мне было объяснить ей, почему я минуту назад был согласен взять его и почему теперь не согласен?..

— А сейчас не согласен, — сказал я.

— Почему?

— Так, — сказал я и очень себе не понравился. Быть нелюбимым — тяжелая штука, я отвел глаза.

А по дороге, усталые, возвращались будто бы победившие семиклассники и будто бы проигравшие восьмиклассники. Все они казались какими-то тусклыми, все шли понуро, чуть ли не согнувшись вдвое. Они волокли за собой деревянные ружья. Кое-кто из них наклонялся, хватал пригоршню снега и судорожно глотал его. Разговаривать им было лень. Они могли прямо сейчас повалиться, как один, на снег и заснуть.

— А вообще-то, если хотите, — сказал я, — пускай Артавазд перейдет в мою команду.

— Так ты согласен? — сказала учительница.

Я опустил голову.

— Почему же ты теперь снова соглашаешься?

— Соглашается, и все, — сказал Мадат.

— А тебя не спрашивают, ты молчи. Почему ты согласился?

— Согласился, потому что что может быть легче бега?

Она посмотрела на меня грустно и задумчиво.

— Да,— сказала она едва слышно,— что может быть легче...

Ливень хлещет стремительно, ветер куда-то летит, коршун парит, семена одуванчиков носятся в воздухе, все куда-то летят, все куда-то уходят.

— Поменяйся местами с последним в той группе, Артавазд,— грустно сказала она.

От наших шагов в мягких постолах все же происходил какой-то шум, но Чужак так неслышно поменялся местами с последним моим номером, что я подумал: он не слышал приказа учительницы. Я повернулся, чтобы сказать ему: да, переходи ко мне, вот я дружески приглашаю тебя,— а он уже стоял в моей команде.

— Первый отряд, до Теплового ключа, к зацветшей вербе — бегом, каждый срывает веточку и возвращается. Второй отряд...

И пока она придумывала нам задание — отряд Мадата перешел овраг и вышел на взгорок Одинокого дуба. Мои голени ударили друг друга и задрожали.

Приказала бы она нам бежать той же дорогой, в минуту бы догнали их и перегнали, в минуту бы...

— Второй отряд, к лесопилке — бегом! Каждый приносит горсть опилок.

Я все еще думал о том, как мне хочется бежать к зацветшей вербе, и никак не мог переключиться и вспомнить дорогу к лесопилке.

— Повторить приказ!

Но прежде чем повторить приказ, я должен был осмыслить его. Я посмотрел на нее непонимающе.

— Опилки? — переспросил я.

— Опилки.

Я снова ничего не понял. Но я не очень был повинен в этом: неподалеку стояли наши девочки и все, что мы должны были принести, мы должны были принести для них. Мадатовский отряд принесет цветущую вербу, а мы — опилки?

— Опилки? — спросил я.

— Вторая группа, приготовиться! — приказала она.— До лесопилки бегом — и обратно! Каждый приносит горсть опилок. Повторить приказ!

И мне показалось, нам придется тащить обратно дубовую кору, мне показалось, мы вернемся все исцарапанные, измученные, и раны и царапины на нашей коже будут пощипывать от залившего их пота.

— Слушаюсь! Бегом до лесопилки и бегом обратно! Разрешите выполнять приказ?

— Каждый приносит с собой горсть опилок.

— Да,— сказал я.

— Повтори.

Честно говоря, это было похоже на пытку, мне показалось: мне набивают рот опилками. И я повторил с неудовольствием:

— Каждый приносит горсть опилок.

— Вот так. Бегом марш!

Мы сорвались с места.

Мы полетели. Но тут кто-то произнес мое имя. Мне мешали бежать, мне портили удовольствие. Я повернулся к учительнице, оскорбленный уже не только из-за опилок. Она шла мне навстречу и внимательно, как-то особенно внимательно вглядывалась в мое лицо.

— Не надо надрываться и бежать через силу,— тихо сказала она.

— Слушаюсь!

Она улыбнулась.

— Это не приказ,— тихо сказала она,— не надо надрываться, слышишь? Спокойно доберетесь до лесопилки, спокойно вернетесь. Не торопясь.

— Мадатовский отряд вон как быстро побежал.

— Они — одно дело, вы — другое,— сказала она.— Не торопясь.

— Слушаюсь! — Короткой дорогой по глубокому снегу я перебежал школьный сад, перемахнул плетень и догнал своих.— Ребята...

Я хотел рассказать им, кто был генерал Мадатов и почему я решил прозвать Мадата Мадатовым, но как раз в ту минуту, когда я поравнялся с ними, Чужак вдруг рухнул на землю. Он не поскользнулся, под ногой его не было льда, просто ноги его как-то запутались, и он упал. Я хотел было рассердиться, но он виновато опустил голову и не двигался с места.

— Ничего,— сказал я,— больно тебе?

— Наоборот,— засмеялись ребята.

— А ведь льда под тобой не было, и ты не поскользнулся,— сказал я.

— Не было, не поскользнулся... — тихим, каким-то муравьиным голосом сказал он.

— Не разговаривай, — сказал я, — дыши носом.

— Носом дышу, — тем же муравьиным голосом — я хочу сказать, что такими голосами, наверное, разговаривают между собой муравьи, — сказал он.

— Что может быть легче бега? — сказал я.

— Я сейчас побегу, — прошептал он.

— Знаю, что побежишь, — сказал я, — только дыши носом. Если не будешь дышать носом, в горле у тебя пересохнет, а во рту станет горько.

— Во рту... не горько, — прошептал он.

Мы выбрались не тропинку, которая тянулась вдоль речки, и устремились вперед, так что ветер в ушах засвистел. Красная рубашка Чужака виднелась и пропадала, появлялась и исчезала где-то за моим плечом. Я следил за ним краем глаза. Какое-то время я видел красную точку у себя за плечом, потом она исчезла. Я понял, что он надрывается, из кожи вон лезет, чтобы обогнать меня или хотя бы бежать вровень. Я увидел его напрягшееся лицо и крепко стиснутые зубы. Он так и лез из кожи, но мне нравилось быть впереди него, хотя бы на два шага, хотя бы на полшага, но впереди.

— Эй, парень, парень! — слышался вдруг голос. — Эй, парень, ты что это делаешь?

Голос был старческий, надтреснутый и принадлежал ехидному Кусачему деду, деду Саргису, то есть брату моего деда. Он прогнал к реке выкупать корову, корова была тощая, и сил у нее никаких не было. Дед Саргис держал ее за хвост, чтобы она не упала, а может быть, это он сам за нее держался, чтобы не упасть. Дед засмеялся и сказал:

— Это куда же вы так топаете? Германия сейчас испугается, лужу наделает. — Дед палкой преградил мне путь и схватил меня за плечо.

Я остановился, потому что, если бы я вывернулся — дед был слабый, — дед бы упал. Дед силился куснуть меня за ухо или в щеку, но укусить меня в щеку не так-то было легко, потому что я был худой, а у деда был один-единственный зуб во рту.

— Кусачий дед не тот, не может даже внука куснуть, — старческим, дребезжащим голосом сказал он.

Я выскользнул из его костистых объятий. Но все это время во мне было ощущение, что меня любят, что из



своего высохшего слабого тела дед захотел уделить мне любовь: мое лицо помнило прикосновение его мягкой бороды, в ушах у меня стоял его надтреснутый, дребезжащий голос, я запомнил его всего, называвшего себя так, как мы, дети, звали его — Кусачий дед.

Я догнал свой отряд возле большого хачкара<sup>1</sup>, пробежал некоторое время рядом с Чужаком и стал понемногу обгонять его. Но он не хотел отставать от меня, он хотел идти вровень со мной и потому кидался вперед своей щуплой грудью, он рвался вперед, как это можно делать при коротких дистанциях, он весь подбирался и рывком вырывался вперед, его лицо вытянулось, и зубы были крепко стиснуты. Но он все же отстал, остался позади, и я снова стал различать его красную рубашку где-то за плечом у себя, краем глаза.

Сейчас я был посреди отряда. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап... Мое тело было полно ликования, от радости сердце мое готово было выскочить из груди, мне хотелось кричать, вопить, орать не своим голосом. Бег был потребностью моего тела, так же как полет бывает потребностью для всех крылатых. Я мог бежать еще быстрее, я мог бежать так быстро, что мог оторваться от земли и... Я, гикая, обогнал кого-то. На мой визг обернулся другой, кто оказался впереди меня. Я поравнялся и с этим, мы пошли плечо в плечо... «Извини, я должен тебя обогнать», я побежал быстрее, быстрее, быстрее, мне показалось, я уже обогнал его... Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап... — я сказал себе, что шаги его я слышу уже где-то за собой, но нет, он шел со мною вровень, плечо в плечо и даже немножечко впереди, я видел его спину. И вдруг эта спина сантиметр за сантиметром стала удаляться. Он был одним из моих номеров, я не мог позволить, чтобы он меня обогнал — я подобрался, весь-весь подобрался и выметнулся вперед. Я бежал так, как бегут последние два-три метра короткой дистанции — я съеживался и кидался вперед, мне казалось, я сейчас разорвусь, тресну по швам, но тот, впереди, все равно неумолимо отдалялся. И мне показалось, что это не он, а я вот так удаляюсь и что не я, а кто-то другой вот так, как я, напрягся, не я, а Артавазд, например, и что это его сердце вот-вот лопнет в моей груди.

---

<sup>1</sup> Х а ч к а р — мемориальный крест-камень.

Я замедлил шаг: командир отряда может бежать самым последним, чтобы проследить, чтобы никого не потерять по дороге, я пропустил вперед одного, другого, третьего, четвертого, позволил, чтобы красная рубашка поравнялась со мною и пошла со мною вровень. Я спросил у него:

— Ну как дела?

Он прошептал:

— Хорошо.

— Горсть опилок сказано взять, — сказал я.

Он прошептал:

— Горсть опилок.

— Вроде бы тебе нехорошо? — спросил я.

Он не ответил, потом прошептал:

— Когда вровень идем — ничего.

— Половину прошли, как думаешь? — спросил я.

— Совсем немного осталось, — прошептал он.

— Немного? Ты что, не знаешь, где лесопилка?

— Мать однажды послала за корой, — прошептал он, — отец не пустил.

— Вряд ли половину прошли, — сказал я.

Он прошептал:

— Говорю тебе... мало осталось... вот-вот дойдем.

— Нет, большая часть впереди... — И вдруг я догадался: — Ты что, плохо себя чувствуешь?

В горле у него, наверное, пересохло, он глотнул воздуха и прошептал:

— Когда вместе...

— Я Мадата прозвал генерал Мадатов, — сказал я. — Давай немного быстрее. — И тут мне показалось, что я хочу сказать ему — но каждый раз забываю — что-то очень важное, очень волнующее. Он поравнялся со мной, и я понял, что хотел ему сказать. — Мы всегда будем вместе, — сказал я.

Но это было невозможно. Я замедлял бег, он замедлял тоже, я начинал бежать быстрее — он отставал. Мне то и дело приходилось сдерживать себя.

А наши уже переваливали пригорок Короткого Дуба. Я понял, что, сколько бы я ни замедлял бег, он будет замедлять тоже, пока мы вовсе не остановимся.

Водопад, да, спрыгивает с камня, орел, да, парит в небе, зеленое поле, да, ходит с ветром из конца в конец, все движется, все радуется, снег поблескивает

и играет на солнце... но дед Саргис еле держится на земле, и корова его тоже.

— Это что? — прошептал он.— Не видно ничего.

— А снег, а солнце?

— Какое солнце? — прошептал он.

— Прищурь глаза.

Он откинул назад свою красивую голову и бежал, подставив лицо солнцу.

— Ты что, в жмурки играешь? — сказал я.

Он поравнялся со мной.

— Совсем мало осталось, верно? — прошептал он.

— Вуй-вуй-вуй-вуй-вуй! — услышал я.

Вдоль дороги на камнях сидели женщины — наши матери. Они сидели, обратив к нам красные, как подсолнухи, лица.

— И чего эта девушка заставляет детей мучиться? — сказали они.

А сами они тоже ведь мучились. На одной из них все еще был противогаз — их лица были красные от противогазов, а так, в жизни, они еще бледнее нас были.

— За опилками бежим, — бросил я им на бегу.

— Вот тебе опилки, возвращайся назад, — сказала одна из них.

Мы оставили их позади.

— Чтоб ей с этими опилками провалиться сквозь землю, не жалко разве детей!

Но жалко было не нас, а их, это они должны были отмывать нас вечером горячей водой, тереть наши спины, наши коленки, вытирать нас досуха полотенцем, укладывать в постель.

— Закрой рот, — сказал я, — дыши носом.

Он послушался меня, но, когда я оглянулся еще раз, рот его был разинут, как у выброшенной на берег рыбы.

— Дыши носом.

— Когда носом дышу, воздух... — прошептал он.

— Воздух — что?

— Горький. — Он добежал, стукнулся об мое плечо и снова отстал.

— Рубаху твою надо постирать, — сказал я.

— Стирали, не сходят буквы...

— Мадата Чужаком... Мадата генералом Мадатовым будем звать, — сказал я.

— Им сейчас трудно, у них сейчас подъем, — прошептал он, — они сейчас остановились, отдыхают.

— Да, а нам трудно будет на обратном пути.

— А им сейчас трудно,— прошептал он.

— Они с вербой вернутся.

— Им сейчас очень трудно,— прошептал он,— а им в гору.

— Они сейчас возвращаются,— сказал я,— возвращаются с вербой, а мы с опилками вернемся.

— С опилками... вернемся.

— А почему с опилками, знаешь?

— Не знаю,— сказал он,— учительница велела...

— С опилками, чтобы она знала, что мы добежали до лесопилки. Чтобы мы непременно добежали до лесопилки. И верба для того же.

— Им сейчас тяжело дышать,— сказал он.— Мада-та сейчас тошнит.— Он добежал до меня, ткнулся головой мне в плечо, как будто хотел ухватиться за меня, но опять отстал.

— Напрасно,— сказал я,— напрасно ты не взял опилок у женщин. Слышишь меня, возвращайся, возьми у них опилок и сядь там, подожди нас, мы скоро вернемся.

Его занесло в сторону, куда-то совсем за дорогу, потом он выровнялся и снова добежал до меня.

— Возвращайся, возьми у них опилок, сиди и жди нас. Слышишь?

Он, казалось, не сам уже убежал, казалось, кто-то другой в нем бежит, кто-то другой, кто не подчиняется ему. И этот другой толкает, сбивает, уводит его с дороги, а он через силу, сопротивляясь этому другому, возвращается снова ко мне.

— Остановись.— Я сам остановился и повернулся к нему: он стоял покачиваясь, он медленно поднял свою красивую голову, глаза у него были воспаленные, красные.— Возвращайся. Возьмешь у женщин опилок, подождешь нас.

Взгляд его был мутный-мутный, на меня, казалось, смотрел больной теленок, который не понимает, чего от него хотят и почему не дают спокойно умереть.

— Не слышу,— прошептал он,— ничего не слышу... как будто под водой.

Я подождал, пока он придет в себя, но он только покачивался и смотрел на меня мутным взглядом. И тогда я повернул его и подтолкнул в сторону села. Он

не возражал, не говорил ничего, мне показалось, он согласен вернуться.

— Сейчас в школу пойдем?

— Ты один пойдешь, а я добегу до лесопилки и вернусь вместе с ребятами.

— Вы все будете бежать,— прошептал он.

От досады мне хотелось заплакать.

— Опаздываю ведь,— сказал я,— и так уже из-за тебя задержался...

— Вы все добежите...— Лицо его сморщилось, на глазах выступили слезы.— Вы все добежите, и ты тоже...

— Это я должен плакать, ты-то чего нюни распустил?! — взорвался я.

— Давай вместе вернемся,— глухо, как, наверное, рыбы разговаривают под водой, прошептал он,— я и ты, вместе вернемся.

— А я почему должен возвращаться, я ведь могу бежать!

— Вы все будете бежать...

— Да что я тебе, мать с отцом, что ли, что ты мне плачешься, пойдти дома у себя пореви.— Я подталкивал его к селу, а он шептал:

— Вместе вернемся... вдвоем... я и ты...

— Ты что, боишься один? На дороге волков нету, никто тебя не съест, иди!

— Нет! — коротко сказал он.

— А что же тогда, если нет? А что же? — повторил я.

— Скажут... скажут...— Он опустил глаза.

— Что скажут?

— Скажут,— прошептал он,— все добежали до места, скажут, один только Чужак с полдороги вернулся. Все, все добегут, один я...

— Ты что же, хочешь...— Голос мой сорвался. Только бы не заплакать. А ведь он был прав, нэ я и так уже слишком задержался, каждая секунда имела для меня значение, и потому, что я ничего, ничего уже не мог придумать, толкнул его сильно, изо всех сил: — Иди ты знаешь куда...

Он упал, а я побежал наконец.

— Сиди здесь,— через плечо крикнул я ему,— сиди так, я тебе опилок принесу!

Но он встал, он поднялся и, шатаясь, шел ко мне.

Я остановился. Я ждал его, чтобы он ко мне приблизился, чтобы он подошел совсем близко,— и тогда бы я избил его. Но он до меня не дошел: ноги его вдруг подогнулись, как-то странно подогнулись, и он упал.

— Чучело гороховое! — крикнул я.

Он пытался встать. Он стоял на четвереньках и никак не мог встать. Он только медленно поднял свою красивую голову теленка и смотрел на меня. Так и запомнился он мне.

Я побежал. Я боялся оглянуться назад. Боялся снова увидеть его шатающуюся походку и то, как он падает. Я все удалялся и говорил себе, что бегу тяжело, потому что бегу один, я обманывал себя, потому что я не бежал тяжело, я, можно сказать, летел, и ветер, можно сказать, почти свистел у меня в ушах. Я чувствовал, что произошло что-то неприятное, и думал, что мой бег уводит меня дальше и дальше от этого неприятного. «Быстрее, быстрее, быстрее...— говорил я себе.— Быстрее, учительница поручила тебе отряд. Тебе надо добежать до лесопилки. Быстрее, быстрее, быстрее... Что-то неприятное, да, произошло. Но уже произошло, и дальше, дальше, дальше, дальше от этого неприятного... А кто не может бежать, тот пусть не бежит». Я замедлил бег. Я замедлил бег, чтобы вернуться, но мне жалко стало пути, который я уже пробежал, и я сказал себе, что замедлил бег, потому что начался подъем. Я одолел пригорок и побежал вниз и надо было только не споткнуться, не упасть, дорога сама несла меня, но, несмотря на это, бежать мне становилось все труднее и труднее...

...И вот я рассказываю тебе историю моей больной совести. Прошло двадцать пять лет. Судья преступнику говорит: за такие-то и такие-то твои преступления мы должны приговорить тебя к двадцати пяти годам заключения или же к смерти — выбирай, что ты хочешь? И преступник думает и говорит: «Смерть или двадцать пять лет? А разве это не одно и то же?» Я не совершал преступления, нет, и на суде никто не задавал мне такого вопроса, я просто хотел тебе сказать, что двадцать пять лет — это время, равное смерти, что за это время все может умереть, померкнуть, измениться, твоя старая строгая учительница смотрит на тебя прищурившись и говорит: «Нет, не помню... забыла захватить очки, плохо вижу, простите... нет, не припомню»,— и

ты сам вглядываешься, вглядываешься в лица женщин и не можешь понять, как это когда-то про эти погасшие глаза ты говорил «блеск пестрых глаз», пестрота эта и жизнь, значит, смотрели из этих глаз всего один день, а потом перелетели, переселились в другие глаза. Все тускнеет, все меняется... но не меняется и не забывается, никогда не тускнеет в тебе то, что случилось с тобой в детстве, то, что сделал ты сам... И если случилось так, что ты бежал в детстве вместе с отрядом — в тебе всегда, вечно будет жить топот ваших детских ног... тап-тап-тап-тап-тап... И если ты променял товарища на опилки... Да, если ты променял товарища на опилки, то есть оставил его, упавшего на четвереньки, его, глядящего тебе вслед, одного, то не думай, что ты одолеешь пригорок и тебе станет легче бежать, не думай, что, если ты не оглянешься и не увидишь его снова, не увидишь, как он поднимает вслед тебе голову, не думай, что все это ты забудешь. Ты не оглянешься, но всегда будешь видеть его, ты будешь бежать легко и быстро, но бег твой будет трудным и бескрылым. И совесть твоя будет ныть, ныть и никогда не успокоится.

С лесопилки везли на подводах доски. Возница был бадаловский дед, по прозвищу Горький. Я сошел с дороги, чтобы пропустить последнюю телегу, и немножко обрадовался.

— Дедушка Авак,— сказал я,— внук Дарбненц Арсена не смог с нами бежать, остался на полдороге, уговори его, возьми с собой в село.

— А ты чей сын будешь? — спросил он.

Он был такой старый, что, наверное, не знал моего отца.

— Я внук деда Аветика,— сказал я.

Волы у Горького деда были худущие, а доски были свежие и тяжелые, волы с трудом тащили телегу. Колесо уперлось в камень, телега остановилась.

— Ах ты сукин сын! — сказал он мне и хлестнул вола.— Ты оставил товарища на полдороге, а мне велешь везти его домой?

Вол напрягся, колесо переехало камень, и телега двинулась в путь.

Телега уехала, дорога была свободна, но я никак не мог сдвинуться с места. Удары сердца у меня стали глуше, и я как бы провалился в глубокую тишину.

Стволы деревьев и пни стояли кругом неподвижные, мягко поблескивал снег, я чувствовал присутствие чего-то знакомого, мне казалось, за спиной у меня связка дубовой коры, и вот я стою, погруженный под тяжестью груза в снег. В снег и в самого себя. Я услышал, как далеко на дороге стегнули вола — где-то, значит, напрягся вол, где-то, значит, вертится вхолостую колесо и переминаются с ноги на ногу, тужатся волю. В мире происходят разные дела, а я торчу тут без пользы, стою себе посреди пустынного поля. Я выбрался на дорогу и понял, что столько времени я стоял окутанный запахом свежей доски и опилок, потому-то мне и казалось, что за спиной у меня вязанка дубовой коры.

Я уже снова бежал, но в первую минуту еще не понимал, куда бегу. А бежал я, конечно, к лесопилке. Я сказал себе, что бегу к селу и передо мной лежит на дороге и поднимает на меня свой мутный взгляд Артавазд. Нет, я бежал не к селу, я бежал к лесопилке, бежал за пригоршней опилок. На тропинке возле лесопилки показались черные силуэты наших мальчиков. Я мог побежать короткой дорогой, через снег, мог перебежать замерзшую реку по льду и добраться до лесопилки немного раньше мальчиков, но мне хотелось догнать их и затеряться среди них, стать одним из них. Возле самой лесопилки я догнал их и побежал с ними вместе.

— А где Чужак, не смог бежать? — спросили они у меня.

— Не смог, — сказал я; я не посмел сказать: «Ты сам чужак», я только ответил: «Не смог».

Я нагнулся и взял две полные пригоршни опилок — одну для Артавазда, другую для себя. Секунду спустя я подумал, что дам Артавазду те опилки, что в правой руке, — я протяну ему руку как бы для приветствия и скажу: вот, для тебя принес, держи, это твое.

— Ты сколько взял пригоршней? — спросил я кого-то из наших мальчиков.

— Одну, сколько же?

— А для Артавазда не взял?

— Для Артавазда?

— Артавазд отстал, ты не взял для него опилок?

— Еще чего!

— Он ведь отстал, — сказал я.

— Нет, не взял!

— А я взял, я дам тебе, а ты ему отдай.

— Почему это? Ты взял, ты и отдавай.

Я не смог объяснить ему, почему затруднялся протянуть Артавазду руку, потому что я и себе этого не мог объяснить. Я не мог еще понять, почему не имею права протянуть ему руку, как брат брату.

— Интересно, где сейчас Мадат со своими? — сказал я.

— Тоже, наверное, возвращаются.

— Возле вербы небось.

— Они должны принести по ветке, — сказал я. — Слушай, я дам тебе Артаваздовы опилки, отдай ему, — сказал я.

— Сам взял, сам и отдавай.

— Умрешь, что ли, если ты отдашь? — сказал я.

— А сам ты умрешь?

— Побежим тише, — сказал я, — они только добрались до вербы.

— Они уже возвращаются, а может, и вернулись уже.

— Конечно, Артавазд ведь не в их группе, — сказал я.

— И не в нашей.

— Может, Горький дед подобрал его, — сказал я, — побежим тише.

— Не можешь — не беги, — сказали они мне.

Я не сразу понял, что их слова относятся ко мне.

— Это кто же не может — я не могу? А ну-ка поспевайте...

Я напрягся и хотел бросить им: «Ну-ка поспевайте за мной». Я все напрягался и напрягался, но никак не мог оторваться от них, я чувствовал в себе какую-то пустоту, такую примерно, какую чувствуешь, когда у тебя спрашивают про какое-нибудь правило грамматики санскрита. Такая была во мне пустота, и пустота эта не позволяла мне по-настоящему напрячься.

— А кто же это, интересно, — сказал я, — кто же это отстал из-за Артавазда на час, а потом пришел и нагнал вас?

— Ты, — ответили они мне.

— Да, я.

Что правда, то правда, сказали они мне, ты отстал из-за Артавазда. А возле лесопилки нагнал нас. Артавазд не нагнал, а ты нагнал. Ну да, я пришел,

нагнал. Вы вдвоем отстали, а потом ты нагнал, а Артавазд нет. Он не мог дальше бежать, виноват я, что ли. Кто же говорит, что ты виноват. Я не виноват. Ты не виноват. Наоборот, я для него опилки несу. А это еще зачем? Отдам их ему. Зачем? Я их для него взял. Что для него взял? Опилки, закричал я, опилки, опилки! Я взял для него опилок, побежим медленнее... А из-за Кусачего деда кто отстал, сказал я, отстал, а потом снова нагнал вас — кто? Они мне не ответили.

— Сперва из-за Кусачего деда...

Они меня не слышали. Они были далеко и удалялись, все больше удалялись от меня. Казалось, они топчутся на одном месте, казалось, это не бег, а насмешка над бегом, и еще казалось, можно не окрыляясь особенно, не воспламеняясь, немножечко только напрячься — самую каплю напрячься и догнать их... Я не мог поверить, что они бегут по-всамделишному... А они все удалялись и удалялись от меня, и с ними вместе удалялась жизнь и радость, и удовольствие от бега, и быстрый взгляд пестрых девчоночьих глаз, немного насмешливый и веселый взгляд. Я завидовал им отчаянно и ненавидел их упорное, безжизненное, но такое упорное движение. Мое бесполезное существование было связано сейчас с их сильной группой только завистью.

— Одного меня оставляете, ладно,— прошептал я им.

Но их спины были безучастны ко мне, не убыстряя и не замедляя своего бега, они неумолимо удалялись от меня, и когда я в очередной раз поднял взгляд — их уже не было, была одна только пустая дорога и снег. Я остановился.

Ушли, значит.

И я увидел, что ничем, ну, ничем больше не связан с ними — ни завистью, ни желанием быть первым, и что так еще лучше — вот я, а вот дорога. И снег и тишина кругом. И среди этих безмолвных снегов на безлюдной дороге я стою совсем один, совсем себе хозяин. Захочу — лягу, захочу — сверну с дороги и понесу свое пустое существование туда, куда и не велено вовсе — я и сам не знаю, куда.

Я не понял, как это случилось, но вдруг увидел, что снова бегу. Бегу, а не лежу и сплю. Снег, снег и снег был кругом, и казалось, я бегу среди одного и того же

снега, на одном и том же месте. Время от времени я как бы приходил в себя, оглядывался, и снова ничего не понимал, не понимал даже, сплю или же просто топчу на одном месте снег. Как закат, как сумерки, во мне переплетались и снова друг от друга отщеплялись бег и снег. Снег, снег, все тот же снег был кругом, и среди снега снова снег. И не было среди снежной этой белизны ничего не белого, чтобы я мог себе сказать, что вон там что-то чернеет, какой-то предмет, вот я нагнал его, а вот и оставил позади. Бег, конечно, был, мы бежали... мы разделились на две группы... на далеких холмах старшеклассники прокричали «ура-а»... женщины с красными щеками сидели и смотрели на нас... потом мы погрузили свои руки в горячие опилки... Все было, но было давно, когда-то, было и кончилось... Чужак пришел и встал прямо передо мной, казалось, это тоже когда-то уже было, а сейчас я вижу сон об этом.

— Скажи матери, пусть стирает рубашку,— сказал я и понял, что это действительно он стоит передо мной.

Он проглотил слюну и отрывисто задышал.

— Я для тебя опилок принес,— сказал я ему.

— Опилок,— прошептал он.

— Я ведь сказал, что твои опилки я принесу.

— Мои опилки... принесешь,— прошептал.

Он взял у меня пригоршню опилок, прижал кулаки к груди и устремился к лесопилке. Я обнял его, повернул его лицом к селу и побежал рядом с ним, но какую-то долю секунды я и сам не понимал, кто кого повернул и куда это мы с ним бежим.

— Зачем тебе бежать со мной? — прошептал он. Он думал, мы бежим к лесопилке.— Тебе со мной не надо.

Я ему ничего не ответил, потому что мне тоже вдруг показалось, что мы бежим к лесопилке.

— Для чего ты бежишь со мной? — прошептал он.— Тебе со мной... не надо.

— Не разговаривай,— сказал я,— дыши носом.

— Не беги со мной.

На этот раз мне показалось, что он просто-напросто не хочет бежать со мной. Со мной, с плохим.

— Я побегу и вернусь,— прошептал он,— добегу и вернусь.

Да нет же, он думал, что я настолько хорош, что бегу на лесопилку второй раз — ради него.

— Ты добежишь и вернешься,— сказал я.

— Добегу и вернусь,— прошептал он.

— Закрой рот.

Он упал. Потом поднялся на четвереньки и снова упал.

— Добежишь и вернешься,— сказал я.— Вон как ты бежишь и вон как возвращаешься, знаем.

Я не мог поднять его, и мне нравилось то, как я мучаюсь с ним. Мне нравилось, что я поднимаю его с земли, что в его кулаке мои опилки и что у него такое худенькое, щуплое тело.

— Тихо как,— прошептал он,— до чего тихо...

— Какая еще к черту лесопилка! — сказал я.— Кто это будет проверять, были мы там или нет.

— Ты уже раз добежал, тебе не надо со мной,— прошептал он,— а я добегу и вернусь.

— У меня во рту горько, давай медленней.

— А ты со мной не беги,— прошептал он,— я скоро вернусь.

— Мои опилки дали мне ребята,— сказал я.

— Твои опилки дали ребята,— прошептал он.— Ты меня обманываешь, ты меня в село ведешь!

Я преградил ему дорогу. И сказал:

— Мои опилки принесли ребята. А ты на лесопилку не пойдешь. Не пущу.

— Вы все, все были на лесопилке, один я не был,— заплакал он. Он плакал, потому что не находил в себе больше сил повернуть к лесопилке, потому в душе уже согласился, что побегит в село с моей пригоршней опилок.— Но ты не скажешь... никому не скажешь, что мои опилки ты принес?..

И снова:

— Ты ведь не скажешь... что я не был на лесопилке?

— Ты был на лесопилке,— отвечал ему я.

Он бежал, бежал и снова начинал:

— А если спросят, что было на лесопилке?

— Опилки,— отвечал ему я.— Что же еще?!

Из глаз его лились слезы, он не хотел плакать, и лицо его корчилось в гримасах:

— Значит, ты был на лесопилке?

— И ты был,— отвечал я.

Он молча давился слезами и снова не выдерживал, взрывался:

— Но ведь ты не скажешь, не скажешь, что я не был там?

— Твои опилки у тебя в кулаке. Ты взял их сам,— говорил я, но все равно в нем не было — во всем его тщедушном теле не было места для лжи, он плакал и снова и снова повторял:

— А если спросят, откуда опилки?

— С лесопилки.

— Но ведь я не был там,— давился он слезами,— я не был на лесопилке, а у меня опилки, откуда?

Впереди показалось село. Я выпрямился и сказал ему:

— Ты бежишь лучше меня.

Село смотрело на нас с холмов. Нахлобучив на себя черепичные крыши, пристально глядели на нас дома. Село смотрело и видело, что двое его сыновей — внук деда Арсена и внук деда Аветика — возвращаются откуда-то вместе, один из них, конечно, посильнее, другой немного слабее, но никто никого не опережает, они идут по-товарищески, плечо к плечу. Среди всех прочих домов выделялась школа с озаренными предзакатным солнцем окнами. С крыльца школы за нашим возвращением наблюдают, наверное, наши девочки — их зелено-красно-оранжевая стайка... Наши девочки, одетые в оранжевое, с цветущей вербой в руках, они смотрят сейчас и видят наше жалкое, наше слабое, медленное, такое медленное шествие самых последних.

— Со двора школы нас видно,— прошептал он.

— Ты бежишь лучше меня,— сказал я,— поднажми еще немножко.

Он напрягся, но не смог вырваться вперед. Он снова напрягся, на секунду поравнялся со мной, его красная спина мелькнула где-то чуть ли не впереди меня, но даже в эту секунду было понятно, что поравнялся он со мной всего лишь на секунду. И он сам понял это: на его лице зажглась и погасла та жалкая улыбка, которая появляется на лицах людей, принявших свое поражение, примирившись с ним.

Он прошептал:

— Иди один.

— Смотри, одинокий хачкар,— сказал я.

— Ты что-то говоришь? — прошептал он.— Иди один.

— Говорю — одинокий хачкар.

Что я мог ему еще сказать? Ведь нельзя было просто так, молча, так, как будто рядом с тобой никого нет, будто не бежит с тобой кто-то рядом из последних сил, нельзя ведь было просто так оторваться от него и пронести свою победу под взглядами девочек, через весь школьный двор, к учительнице.

Где-то возле самой школы, у поворота дороги, я оглянулся — он бежал медленно, он был почти там же, где я его оставил, среди снегов чернели хачкар и его маленькая фигурка. Казалось, ничего там не двигалось.

Я выпрямился и выбежал рывком на школьный двор. Никаких голосов. Школьный двор был совершенно безлюден. Я побежал в класс. Доска в классе была вытерта насухо. И в учительской никого не было. Среди тишины мерно двигался маятник часов, и на столе безмолвно умирали ветки вербы. Двор был пуст, перед учительской, на полу, просыпана горсть опилок.

— Нет, — прошептал я, — нет, нет...

Я разжал кулак. Опилки у меня в кулаке спрессовались. Мне стало душно, невозможно дышать, и, казалось, все это тоже давным-давно уже было. Я бросил свой комок опилок на пол. Комок рассыпался.

Я нагнулся, обеими руками собрал опилки в кучу. Я побежал к учительнице домой. Она задавала сено коровам. С веткой вербы в руках перед сараем стоял Мадат и не пускал коров в хлев — пока тетка не заправит все сено в ясли. Он сдвинул брови, посмотрел на меня искоса и сплюнул сквозь сжатые губы — вот так, мол, я с тобой расправился и расправлюсь еще не раз. С сеном в руках, учительница заметила меня, стало тихо-тихо, и она смотрела на меня. Только на меня. Я разжал кулак и услышал, как просыпались на землю опилки. В ее взгляде почувствовалось что-то вроде любви и ласки, и незаметным движением губ она спросила:

— А где же Артавазд?

Я почувствовал, что она хочет услышать от меня: «Здесь, в школе», — но его не было, он остался в ущелье один, возле одинокого хачкара.

— Он идет, — сказал я.

Взгляд ее сделался холодным.

— Да? — сказала она и повернулась, понесла сено коровам.



## ХЛЕБ



тец, прихватив топор, шел чинить сарай. Мать, подвязавшись передником, шла в поле убирать картофель. Дядя, закинув на плечо грабли, шел в горы собрать подсушившееся сено. Я сидел на коряге у нас во дворе и под теплым солнышком, откусывая от краюхи хлеба, читал книгу о приключениях.

День был воскресный. Уроки на завтра все были выучены. Учителя в школе ставили мне пятерки по армянскому, по русскому, по математике, по географии — по всем предметам без исключения я получал одни только круглые пятерки. Книга про приключения была хорошая книга. Мой отец был хороший отец. Моя мать меня очень любила. Мой дядя был сильный и красивый мужчина. Ласточки из-под карниза нашего дома улетели в другие края вместе с журавлями. На сад и на лес с тихим шелестом опускалась осень. Если

бы не наши свиньи, которых два дня уже нигде не было видно, в мире все было бы прекрасно в данную минуту.

Отец с топором под мышкой, мать с подвязанным передником, дядя с граблями через плечо — все они кидали на меня ласковые взгляды и втайне восторжались, что ребенок их растет, вот он подпер щеку рукой и читает книгу. Перед тем как отправиться в поле, мать подумала: сказать или не сказать? И решила не говорить, не мешать сыну, пусть растет ученым, пусть спокойно себе читает книгу. Отец подумал: попросить или не попросить? И тоже решил не просить, пусть сын читает, пусть ест хлеб и читает. Я читал и чувствовал, что они хотят мне что-то сказать, но я делал вид, что ничего этого не замечаю, а только вот сижу и читаю книгу про всякие разные там приключения, потому что хорошо, до чего же хорошо, когда в книжках другие идут и мокнут под дождем, и дерутся, и терпят поражение, а потом побеждают, и плохо, ужас как нехорошо, когда ты сам должен идти куда-то, уставать, искать и находить или не находить заблудившихся в лесу — где же еще? — свиней.

Сарай надо было непременно починить, картофель надо было обязательно убрать, и сено уже грозило пересушиться. И значит, мои отец, мать и дядя не могли откладывать эти свои дела, не могли не пойти чинить сарай, собирать картофель и убирать сено. И отец сказал мне:

— Если я попрошу тебя об одном одолжении?

Я знал, о чем он хочет попросить, но я спросил:

— О каком еще одолжении?

И очень это был большой позор, что я знал, о чем он хочет меня просить, и делал вид, что не знаю.

— наших свиней видели на Чистой поляне, — сказал отец.

— Кто видел? — спросил я.

— Лесничий.

— Когда видел? — спросил я.

— Вчера вечером.

Я сумел побороть себя, удержаться и не спросить: «Зачем он их видел?» Я сказал:

— Чистая поляна которая?

— Ты, по-моему, и сам знаешь, которая Чистая поляна.

— Это та далекая, что ли?

Он не ответил, и я понял, что он начинает на меня обижаться.

— Ты хочешь, чтобы я поискал их возле Чистой поляны?

— Я ничего не хочу,— холодно сказал отец.

— наших свиной видели на Чистой поляне. Ну и что? — сказал я.

Он снова не ответил мне, он повернулся, чтобы уйти.

— Ну ладно,— сказал я,— я пойду туда. А если их там не будет?

— Не знаю,— ответил он.

Он в самом деле обижался, потому что сам идти на поиски не мог, а я задавал ему вопросы самого что ни на есть отъявленного лодыря-бездельника.

— Ладно,— сказал я,— это все я так. Я сейчас пойду.

Мягко грело осеннее солнце, и под мягким осенним солнцем хороши были безмолвные гнезда ласточек и яблони в саду, на которых еще держались там-сям одно-два яблока, и тихая улыбка моей матери, и рыжая собака, которая улеглась у меня в ногах и дремала, и красный гребень петуха, и дерево черешни, которое вдруг стало ни с того ни с сего как-то странно попискивать. Я взгляделся в черешню, увидел желтобрюхую пташку на ней — этой поздней осенью она отыскала на дереве ягоду и пищала от удивления и радости. И я понял, что под мягким осенним солнцем все красиво и печально и один-единственный урод — это я, потому что вот уже битый час притворяюсь, будто мне позарез нужно читать свою книгу.

И тогда я сказал:

— Книгу можно и в лесу читать.

— Спасибо, ты нас очень выручишь,— сказал отец,— собака останется сторожить кур, а хочешь, с собой заberi. Спасибо,— повторил он, и мне стало немножечко совестно.

— Собаку,— сказал я,— возьму с собой.

Они надели на меня теплый шерстяной свитер, который связала мне мать в зимние долгие вечера, велели переобуться в легкие туфли на резиновой подошве, чтобы я, не дай бог, не поскользнулся, и посмотрели на меня ласково, поскольку свитер мне очень шел и я был их ненаглядным ребенком. И сказали:

— Тебе с дядей до Слепого родника по пути,



дойдешь с дядей до Слепого родника, там свернешь на Кустистую тропу, дядя тебе покажет. До Чистой поляны оттуда рукой подать.

Собака идти не хотела. Я позвал ее еще раз, и она медленно поднялась с места и лениво пошла за нами. Она хорошо знала вороватого коршуна из соседнего леса. А вороватый коршун из соседнего леса хорошо знал ее. Они были давнишние знакомые. Вороватый этот коршун не парил, как все настоящие коршуны, открыто и высоко, он приближался к нашим курам незаметно, перелетая с дерева на дерево, с куста на куст, прячась в траве. Собака вспомнила, наверное, про это и остановилась. Но я сказал себе, что веду ее на важное дело, и подозвал ее к себе свистом. Она плелась за нами нехотя, но, когда мы вышли из села, обогнала нас и с веселым повизгиванием и лаем умчалась далеко вперед. Она стосковалась по лесу, по свободному бегу, по усталости.

Дома оставался мой письменный стол с книжками, моя настольная лампа с теплым приветливым светом, моя маленькая библиотека, мягкий говор радио и толстая шаль на моей тахте, связанная из верблюжьей шерсти, чтобы я мог укрыться ею днем, если мне захочется вздремнуть. А в лесу были медведи, слоны, тигры, кабаны, черти, дэвы, чудища — кроме наших свиней и моего благородства, в лесу было все. Я шел медленно, заметно отстав от своего дяди. Я раскрыл книжку и шел, то и дело заглядывая в нее. Будто бы вот не могу оторваться от книги — такая она интересная.

Возле Слепого родника, где была развилка, собака остановилась, поджидая нас. Родник назывался Слепым потому, что из подземных недр с водой вместе он выносил мелкий песок, и этот песок то и дело забивал исток. «Исток» по-армянски — «аки», то есть «глаз». «Глаз, очки, окулист, глаз, исток, источник, глаза источников, слепой глаз, слепой родник», — подумал я и сам себе поставил большую жирную пятерку. Слепой родник опять был полон мелкого песка и тины. С забитым намертво истоком родник, наверное, задыхался сейчас под землей.

Мой дядя смотрел-смотрел на заболоченный родник, потом достал из сумки еду, разделил пополам вареную курицу, завернул половину в лаваш, завернул все это

в газету, отдал мне и кивнул в сторону Чистой поляны: тебе туда.

— Хочу пить,— сказал я.

— Там напьешься,— сказал он,— там, под большим дубом, есть хороший родник. Ступайте.

С радостным лаем собака кинулась бежать по тропе. На секундочку и я обрадовался и тоже побежал. Опавшая листва под ногами хрустела оглушительно громко. И только этот хруст, только он был в моих ушах, когда я бежал. Когда я останавливался, наступала тишина, и среди этой тишины в осеннем желтом свете с еле слышным посвистом кружились в воздухе листья. Черный тетерев с криком выпрыгнул у меня из-под ног, и снова стало тихо.

Я оглянулся. Дядя стоял на коленях у родника и что-то делал. Углубившись в лес еще немного, я опять оглянулся. Мне показалось, дядя уже ушел оттуда, но он не ушел — склонившись над родником, он что-то, кажется, доставал из него, но различить дядю уже было трудно, потому что дядина одежда и тропа были одного цвета. Я сел за деревом и, чтобы обмануть себя, будто тоже что-то делаю, тоже делом занят, я раскрыл книжку про приключения. Но читать я, конечно, не читал. Уткнувшись в книгу, я ждал, когда мой дядя отойдет от дороги, по которой мне можно будет вернуться домой. А он сидел у родника, курил и, как мне показалось, высматривал в лесу меня. «И чего, спрашивается, сидит без дела? — подумал я. — Его дело — искать пропавших свиней, мое — книжки читать, я вон читаю свою книгу, а он сидит без дела». И чтоб еще больше обмануть себя самого, я заткнул уши пальцами и стал смотреть в книгу неотрывно, будто бы читаю, будто бы только читаю.

Слабый отдаленный шелест донесся до меня. Я поднял глаза от книги и отвел руки от ушей — шелест был очень близко и звучал очень громко. Но я не успел испугаться, потому что в ту же секунду увидел нашу собаку. Она налетела на меня, подпрыгнула, еще раз подпрыгнула, взвизгнула и позвала меня в сторону Чистой поляны. И чтобы она не прыгала и не визжала под самым ухом, я отдал ей половину своего хлеба. Она села около меня и подождала: что же я ей еще дам?

Белое куриное мясо я съел сам, косточку грудную бросил собаке. Кожицу шеи съел сам, косточки бросил



ей. Честно говоря, есть мне эту курицу вовсе не хотелось. Наверное, потому, что я не пошел искать свиней. Но я все равно упорно доедал свою долю — невиданно вкусную куриную ножку я обглодал до последнего, кость отдал собаке.

— Получай,— сказал я ей.

Возле родника уже никого не было. Я спустился по тропе к дороге.

— Пошли,— сказал я собаке.

Она смотрела на меня и не двигалась с места, потому что не верила, что уже пора возвращаться.

— Как хочешь,— сказал я ей,— оставайся тут, дело твое.

Я дошел до родника и остановился: в нем не было больше грязи и тины, и сейчас его никак нельзя было назвать слепым. Он бил сильно и свободно и от полноводности своей прямо-таки приплясывал. Его каменное дно было чистое и синее. Я наклонился и в прозрачной воде увидел свою сытую и глуповатую физиономию, и мне стало стыдно. Но мне очень хотелось пить, и я припал к воде. Я не успел понять, что я не достоин этого родника,— я уже пил воду. Что этот родник, что это куриное мясо, что этот наш пес, этот лесной шум и мой отец, и моя матушка, что все это было очень хорошее, а сам я очень плохой — об этом я не думал, я пил глоток за глотком чистую родниковую воду, мне и в голову не приходило задумываться над такими вещами.

Я напился досыта вкусной воды и был очень доволен.

Из лесу до меня донеслись какие-то голоса, и мне показалось, что вроде бы это голоса наших свиней. Когда мне так показалось, мне опять стало немножечко стыдно, но я продолжал вышагивать к нашему дому — к моей тахте, к моему столу, к моему теплему углу.

Возле самого села я оглянулся и увидел, что собака идет за мной.

— Что же ты пришла? — сказал я ей.— Не хотела ведь.

Унес коршун за это время наших кур или нет, я не узнал. «Курицы — мамино дело, пусть мама проверяет, унес коршун курицу или не унес,— подумал я,— а я географию на завтра выучил и алгебру сделал...»

Отец мой сидел на тахте с краю. Значит, спина его снова болела. Но с чего это он так радостно улыбался, было непонятно.

— Что это по радио передают? — спросил он. — Ты знаешь?

— Комитаса.

— Он сам это сочинил или только поет?

— Сам сочинил, он был композитор.

Отец опять расплылся в улыбке, потом сказал:

— Молодец, что историю хорошо знаешь. Учителя твои пришли, помогали мне. На завтра уроки выучил?

— Выучил.

— Спасибо, — сказал он. — А что свиней не нашел, не беда. Я сейчас сам пойду приведу их.

— Сейчас не видно, темно уже, — сказал я.

— Вчера волк мушеговских свиней в лесу задрал, боюсь, как бы и наших не покалечил.

Он все хотел подняться с тахты и не поднимался. Он не хотел облакачиваться о подушку, но в конце концов не выдержал, облокотился.

— Когда так — не болит, — сказал он. — Ты только на Чистой поляне смотрел или еще где?

— На Чистой, — сказал я.

— Значит, туда уже не надо ходить, жаль, я-то надеялся, что они там.

— Не знаю, — сказал я, — тропа была листьями завалена, не знаю, Чистую поляну я смотрел или это было другое место.

— Большой дуб с краю поляны был?

— Был. И под дубом родник, — сказал я.

Корчась от боли, он все-таки встал и искал шапку — он был такой усталый, что не понимал даже, что держит шапку в руках.

— Жаль, что на Чистой их не было, значит, они еще дальше ушли, к Глубокой.

— У тебя спина болит, — сказал я. — Куда ты пойдешь?

Он усмехнулся:

— Когда в темноте напрягаешь зрение — перестает болеть.

— Я с тобой пойду, — сказал я.

Он погладил меня по голове.

— Ты сегодня находился, ты поешь и ложись спать.

— Я пойду с тобой, — сказал я.



— Нет, — отрезал он, — ты книгу читай.

В темноте, громко и часто дыша, что-то прошло под окном — это была наша собака, она шла с отцом в лес, чтобы искать в дальних далях и, найдя, пригнать домой наших заблудившихся свиней, чье мясо я должен был есть всю зиму и чьей ценой я должен был одеться в теплое пальто, получить лыжи, пушистый шарф и шапку-ушанку в придачу...

Мать накрывала на стол. Радио пело тихонечко. В углу горела настольная лампа, на белой скатерти на большом столе красовался выпеченный на славу белый пшеничный хлеб. Рядом с хлебом — картофель, поджаренный, румяный. Короткими языками пламени полыхала наша печь. Тихо клокотал чайник, и поблескивала рядом с чашкой серебряная чайная ложка, а коричнево-ореховое варенье выглядело торжественно и празднично в молочном свете, разлитом по комнате, и ночь была густая и теплая, и было печальным одинокое подпольное пение сверчка, которое доносилось то от печки, то от моей тахты. Все это было прекрасно и было создано для меня, но я, я был не достоин всего этого.

— Я ужинать не стану, — сказал я.

Я забрался в постель и отвернулся к стене. Ко мне подошла мать. Я сомкнул веки. Она укрыла мне спину и пробормотала ласково:

— Намаялось дите.





**ДО ВАШЕЙ ЭРЫ,  
ЖАРКИМ, ЗАСУШЛИВЫМ ЛЕТОМ 1947-го**

**Л**ето 1947-го, так же, как каждое прожитое нами и прожитое вами лето, наполнено людьми, голосами, ребятишками, фруктами, красками... Но мне помнится один молчаливый отец, один бледный, всегда голодный мальчик и едва начавшее краснеть одно-единственное безмолвное яблоко среди зеленой листвы.

Мальчик этот я, или же, скорее, тот хрупкий кокон, из которого я должен был, сам себя покидая, выйти этим трудным летом 1947-го. Выйти и дойти до вас.

Мальчика зовут Грант. Из размытых субботних сумерек отец обращается к нему глухим, надтреснутым голосом: «Гранодо!» И от одежды отца, от его рук и даже от голоса пахнет свежими древесными опилками и опаленной, выжженной нивой. У мальчика нет фамилии, его фамилия Матевосян осталась в классном журнале. Посреди этого знойного лета и сама наша

школа осталась в каком-то прошедшем времени. Когда мимо этой самой школы протащили ненужный плуг, чтобы бросить его возле кузницы, вот тогда-то и показалась мне безлюдная, вся в краске и свежей извести, школа такой далекой.

Отца мальчика зовут Игнат. Но никакой Игнат, никакой «отец», никакой «папа» — ни одно слово на свете не может определить для меня этого работающего немногословного человека. В летний мирный вечер он идет мимо бурлящих огнями очагов, мимо полных живого духа дворов и говорит старым и малым, всем, кто незнаком или кажется в сумерках незнакомым, всем-всем говорит: «Вечер добрый!..» И продолжает свой путь. Усталое село мягко улыбается ему и делается от этого немножечко добрее.

Мальчик сидит рядом с ульем. В улье от силы сотня пчел наберется: в прошлый раз отец открыл улей, а в улье была одна пустота, словно после нашествия Чингисхана. И эта горстка пчел, эти несчастные создания словно размышляли-решали: жить им или не жить тут больше, обживать эту пустынную планету, где ни в одной ячейке, ни в одной соте крупинки сахара не было. Отец мой застонал и сказал: «Помочь надо». Отец не мог сказать: «Надо дать им сахару». Во всем Ахнидзоре нельзя было достать сахару. Поэтому мой отец не произнес слово «сахар». Оставив открытой крышку улья, отец решительно пошел — словно бы за сахаром, но пошел он вниз по реке, к лесопилке, за десять километров от Ахнидзора. Мать с детьми сейчас в горах. Куры тоже в горах, их свезли туда, чтобы они не разворошили раньше времени картофельные кусты; не разорили фасолевые грядки. И собака в горах, иногда ей, наверное, дают пенку от сцеженного молока.

В селе один только мальчик по имени Грант. Он не на поле, потому что только из вражды можно сейчас переворачивать землю и отдавать вселенской засухе эту малую, незаметную, как влага на детских пеленках, ничтожную воду. Там, на поле, словно пустыню пахут — за плугом поднимается пыль и лемех под землей гулко грохочет. И во что только превратилась мягкая, жирная, благоуханная земля! И плуг потащили обратно в село, мимо школы, и бросили возле кузницы.

Мальчик, хоть и жарко, не на речке, потому что после купания голод гложет с особой лютостью. Лемех,



когда пахали, иногда выбрасывал из земли корень чантука, и тогда мальчик хлопал вола по спине, соскакивал с ярма, подхватывал корень. Пахарь говорил: «Ешь, это сладкий корень!» Другие ребята тоже говорили, что сладкий, но в этом корне сока вообще не было. Если очень долго жевать, вкус какой-то в конце концов все же появлялся, но скорее это было воспоминание о сладком.

Пчелы возвращаются с лугов пустые, мальчик видит это. Случается, одна какая-нибудь сядет у приступочки перед входом в улей, и ножки у нее мохнато расцвечены красным и желтым. Но отец говорит, что это совершенно сухая пыльца.

На яблоне — одно-единственное яблоко. Вчера была троица, как букет, еще раньше — тысяча. Еще немножко — и все они должны были засиять-засверкать, как звезды на небе. Но тут ударила засуха.

За домом в овражке всегда, всю жизнь протекал ручей. Он и до мальчика был, и до того, как были посажены те несколько деревьев, что называют садом. Ручей был всегда, но мальчик в это лето нашел его сам. Отец забыл об этом ручье. Мальчик размышлял и подумал, что столько яблок на этом дереве он сбережет, сохранит до осени и по осени это тяжелое, сладкое, полное яблоко дерево подарит отцу. Пониже колхозных хлебов, возле развороченного родника, мальчик нашел в зарослях крапивы железную трубу. Обжигая руки о крапиву, мальчик выволок ее оттуда и потащил, обдирая ключицы, к своему ручью и там, соорудив запруду, провел воду по трубе к своему саду. И вода образовала под яблоней мутную, вспененную лужицу, а мальчик сидел на дереве и ел кисленькие яблоки. Отец в тот день не похвалил мальчика — отец стоял посреди теплого, опаленного дневным зноем вечера, молча стоял и смотрел на лужицу и на мальчика.

Эту яблоню мальчик сам спас от засухи, это были его собственные яблоки, он должен был их сберечь и подарить отцу, но мальчик съел все яблоки незрелыми и оставил всего три яблока.

И отец стоял под деревом, на котором остались три яблока. Отец сказал: «Поспевают». Яблоня издавна давала плоды, но никто никогда не знал, какой у них, спелых, запах, вкус и цвет. Он сказал: «Поспевают». И мальчику показалось, они действительно спевают.

Мальчик не знал, что случится назавтра. Ему захотелось из букета-троицы сорвать одно яблоко; когда он срывал, какое задумал, другое само упало, и мальчик это упавшее не стал есть, оставил лежать под деревом, чтобы отец увидел и подумал, что яблоко упало само.

На дереве оставалось одно-единственное яблоко. От горы Зардакар и до садов Марца на всем белом свете это было одно-единственное яблоко.

Этот мальчик, каким я был тогда, или же, скорее, тот кокон, из которого я вышел, этот мальчик поднялся и пошел от улья, от яблони. Он дошел до ручья, сел возле своей запруды. Ему показалось, он просидит так до возвращения отца, но он не выдержал, встал, вернулся тем же путем, перемахнул через изгородь и вошел в сад.

Потом на дереве было пол-яблока. Это было ужасно, но другую половину яблока я отрезал и съел.

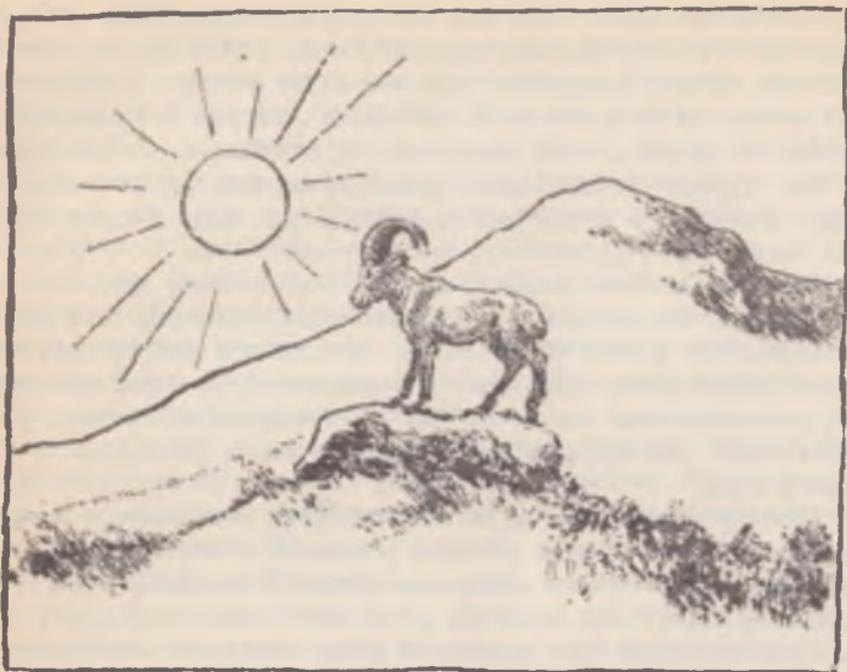
Уже было время прихода отца. Раздавая свой «вечер добрый», отец идет по селу. Его жены нет дома, его младших детей нет дома. В доме нет дел, эти десять километров он проходит ради оставшегося в селе мальчика.

Мальчик спустился к роднику: он принесет отцу холодной родниковой воды. Сухой, жилистый, широкоплечий отец всю воду из медной посуды до последней капельки выпивает-высасывает, и сын вместе с ним утоляет жажду и радуется. Так было всегда. Но сейчас он не имеет права быть водоносом для этого человека. Он спускается к роднику, наполняет посудину, но домой идти не решается.

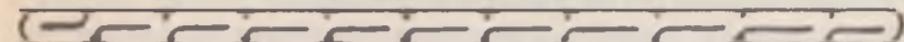
Отец уже дошел до дому, стоит под деревом в сумерках, а сын стоит в овраге среди лепета родника. Родник бьет уже тысячу лет, тысячу лет поет родник, тысячу, миллион, миллиард лет...

— Грандо!.. — позвал отец.

И я замер от замешательства и смущения, я ничего не слышал и не видел. Мне захотелось сжаться, стать маленьким и незаметным, чтобы выскользнуть и убежать из этой беспомощной детской скорлупы, потому что невозможно, невыносимо быть было таким плохим и стоять рядом с этим чудесным человеком.



## КАК Я ОДОЛЕЛ МАТЕМАТИКУ



**С**ловно старую историю разыгрывали: отец мой в папахе, с хурджином за плечами, я, следом собака ввалились в педагогический техникум. Отец мой был пастух, хурджин наш расписан был узорами, а собака Боб была лохматым волкодавом. И я — краснощекий, весь с ног до головы четырнадцатилетний. Нас плохо приняли. Во-первых, собачка директора начала повизгивать и лаять на самого моего отца, потом, сочтя себя ровней нашему Бобу, пошла скулить под его складчатым подбородком. Боб покосился на собачку, потом посмотрел на меня, и мне показалось, Боб улыбнулся. Да, так оно и было, Боб улыбнулся. А собачка укусила Боба за ногу и, повизгивая, убежала, словно ее укусили, не она сама. Боб прыгнул было за ней, но отец сказал:

— Ну-ка! (Боб покосился на отца.) Нельзя,— сказал отец.

Боб улегся у его ног и стал зализывать рану. Собачка незаметно вернулась и снова потихонечку куснула Боба. Боб вовсе разъярился, но мой отец повторил:

— Нельзя, Боб!

И Боб от возмущения не стал больше зализывать рану, дал, чтобы кровь текла себе.

— Трудно тебе тут придется,— сказал старый учитель математики, глядя на Боба. Про меня сказал.

А директор стал поддевать моего отца:

— В самое время явились.

Отец обрадовался:

— Ну да, пусть, говорю, ребенок не опаздывает на занятия, оставил все дела и привез.

— Я и говорю, в самое время приехали.

— Пусть, думаю, парень в люди выходит.

Директор смерил меня взглядом. Смерил — не то слово, я был слишком мал для этого,— просто окинул мимолетным взглядом. И увидел, очевидно, что я не человек еще, что человек из меня еще только-только должен изготавиться.

— Что вам сказать, занятия начались, опоздали вы.

— Что? — словно бы ослышался мой отец.

— Опоздали, говорю,— сказал директор громко, словно с глухим разговаривал.

— То есть как это опоздали?

— А вот так — какое сегодня число?

— По-моему, первое.

— И по-моему, тоже первое. Приемные экзамены кончились двадцатого августа. Так вот и опоздали,— спокойно пояснил директор, усмехаясь.

— А ребенок-то отличник, как же нам теперь быть?

Но директор уже принял вид философа, уставшего истолковывать этот мир. Он объясняет, объясняет, все растолковывает, а эти все равно в толк ничего не возьмут. В конце концов, он отказывается от желания объяснять и удовлетворяется одной только насмешкой, вот как это происходит.

— Эти оценки он сам получил или же ваш директор наставил? Все эти отличные оценки?

— Я получил, а директор выставил,— сказал я.

— Ага, он, значит, получил, а Герасим поставил,— сказал отец.

— Герасим — кто, директор, что ли? — спросил директор техникума.

— Точно,— подтвердил отец.

— А он случайно не сын твоего дядьки? — заерзал в кресле директор.

— Нет, подальше будет родня.

— Значит, Герасим, говорите, проставил? Оценки?

— Да.

— Я их получил, а он проставил,— опять вмешался я.

— С-с-с! — Отец щипнул меня между лопаток.

— Ну хорошо, а как у него, к примеру, с армянским обстоят дела?

— Разговаривает, сам видишь, как, и прочерк тоже неплохой.

— Прочерк? — оживился директор.

Отец мой засомневался.

— Главное, конечно, прочерк,— сощурился директор.

— Не прочерк, а почерк,— спокойно поправил я.

До отца дошло наконец, что директор над нами насмеялся, и он сник.

— Значит, опоздали? — уже без надежды спросил он.

— Нет, почему же, в будущем году приедете.

— В будущем году другие приедут, а я сейчас приехал,— сказал я.

— Баб,— одернул меня отец.

— Ну хорошо, а теперь ты сам скажи, что мне делать? — растерялся мой отец, но директор уже не слушал его, натягивал шапку, собирался уходить.

Отец мой беспомощно поглядел по сторонам, в углу плакал Боб, а я спокойно себе хлопал глазами. Рядом с Бобом стоял учитель математики с приставшим к усам дымом. Учитель подмигнул отцу и сказал:

— Товарищ Чалоян. Вараг... Прими парнишечку. Директор поглядел на нас с сомнением.

— Так ведь опоздали они, товарищ Ахумян.

— Хороший парнишечка. И песик у него хороший. Помнишь рыжего пса из Варагаванка? А Варагаванк помнишь? Как мы с тобой ездили к нашим...

Он просто-напросто напоминал таким образом, что

они из одного села и что он просит своего друга-директора об одолжении.

— А сможет учиться-то?

Тут мы все, словно ученики второго класса, в один голос сказали: «Сможет».

— Ладно. А прочерк, значит, хороший.

Отец мой смиренно улыбнулся, наверное, как школьник, хотел пообещать, что с этого дня станет говорить «почерк», а не «прочерк».

Потом мы пошли покупать мне обувь и снова вернулись в техникум. Отец мой вошел в аудиторию, осмотрел мой стол и сравнил мои новые ботинки с обувкой моих товарищей, потом вышел за ворота, кликнул пса и ушел. А я, проводив его, вернулся в аудиторию, на математику. Урок пять минут как начался. Боб проскулил возле дверей аудитории, потом нервно затыкала собачка директора. Я поднял руку и попросил разрешения выйти, как раз в то время, когда Боб кусал собачку директора.

— Уходи, Боб,— сказал я.

Он вильнул хвостом. Я объяснил ему, что не может же он оставаться здесь до самого лета. Но он все еще не понимал, что к чему. Я хотел еще раз спокойно объяснить ему, почему нельзя здесь оставаться, но в это время из аудитории выглянул наш преподаватель:

— Овивян, куда это ты пропал?

— Сейчас, товарищ Ахумян, скажу ему одну вещь и приду.

— Говори давай, а я погляжу.

Я велел Бобу уходить. Но он продолжал вилять хвостом. Я вынужден был напомнить ему о его обязанностях:

— Где твои овцы? Ступай к ним.

И тогда он ушел.

— Трудно тебе будет с математикой,— сказал учитель.

— У меня по математике пятерка.

— Настоящая?

— Нет,— признался я,— я литературу люблю. И географию. По этим предметам у меня настоящие пятерки, и по математике поставили. Хорошая у нас собака, верно?

— Э, Овивян, трудно тебе придется на этом свете.

Насчет остального не скажу, но по математике мне

действительно приходилось трудновато. Поначалу товарищ Ахумян занимался со мной и объяснял задания. Начинал он каждый раз с азов, то есть с самых элементарных математических понятий. Это я был еще в состоянии понять. Потом мы переходили к манипулированию этими понятиями, и тут он обрывал себя на полуслове и улыбался, и мне становилось ясно, что даже самые элементарные понятия до меня не дошли. Он не ругал меня, не упрекал, да и мне самому не приходило в голову краснеть и стесняться. Но он перестал вызывать меня к доске. Дойдя в журнале до моей фамилии, он задерживался на секунду, качал головой и ставил «неуд».

А у меня на уме были одни горы и собаки. Я вспоминал, как грохочет в темноте гром, а собаки с воем преследуют волка.

В конце третьей четверти, когда мне была оставлена очередная двойка по математике, директор сказал с усмешкой:

— Знаешь что, ступай-ка ты домой и не возвращайся больше, не теряй времени понапрасну.

А товарищ Ахумян взял да и переправил «неуд» на «уд» и долго смотрел на меня поверх очков, как дед, как отец бы смотрели. Но я и не думал, как внук и как сын, говорить ему спасибо. На уме у меня были одни горы. Я вспоминал, как по свирели моего отца встает полная луна, как в полудреме, возлежа головами на лапах, собаки внемлют покою, а девять моих братьев спят на тахте, обнажив во сне крупные резцы.

В четвертой четверти товарищ Ахумян поставил мне «удовлетворительно», но за письменную экзаменационную работу я получил снова «неуд». «Неуд» ставят, когда задача решена неправильно, а я просто-напросто аккуратно записал все условия и отправился мысленно в горы. Директор, присутствующий на экзамене, вернул меня к действительности.

— Решай,— сказал он.

По его мнению, жизнь — это сплошные задачки по математике и их правильное решение.

Сидевший рядом со мной Геворг взял мой листок, немного подумал и решил все задачи.

— Это не твой почерк,— сказал директор.

— Ну и что? — возразил я.— Все задачи решены и примеры тоже.

Товарищ Ахумян полностью разделял мое мнение. Но поставил «неуд».

— Летом позанимаешься,— сказал он, и было видно, что он повторяет чужие слова.

— В горах задачи решать невозможно,— сказал я. Директор хотел засмеяться, но Ахумян сказал:

— Верно, сынок, горы задач не любят. (И директор подождал, не стал смеяться.) На что горам математика, горы существуют, чтобы их бил град, а они потом чтобы снова зеленели, не думая о том, что их снова побьет град,— сказал товарищ Ахумян.— Я согласен: в горах невозможно заниматься математикой.

Директор про себя решил, что преподаватель Ахумян заговаривается, мне же было сказано:

— Если в горах невозможно заниматься, мы тебя исключим... Надеюсь, тебя не станут за это ругать, пойдешь в пастухи, станешь пасти скотину.

Я сказал «до свидания» и отправился в горы. Дома я сказал, что у меня «хвосты» и, если осенью я их не ликвидирую, меня исключат из техникума. Мои родные смотрели на меня истосковавшимися глазами и вначале не поняли, о чем это я. Но потом, когда я смешался с остальными своими девятью братьями, мать толкнула меня в бок:

— Садись заниматься.

В загоне пастухи выпрямляли рога вожаку-козлу. Этот вожак нашел нужным родиться с такими рогами, какие были у его диких предков,— расположенными широким полукругом.

Пастухи посчитали это некрасивым и, вытащив из тonyра горячий лаваш, обернули им крутые рога и стали выгибать их и выпрямлять.

— Какое ваше дело, пусть растут как им вздумается,— сказал я.

— Еще чего! — Они кряхтя выпрямили-таки козлу рога.

Потом срезали ему бороду.

— Может, вы ему усы вместо бороды приделаете? — сказал я.

— А подойдет? — усомнились пастухи.

Вечером, когда отару спускали в загон, вожак долго стоял на холме и смотрел в глубокие дали, наполняющиеся темнотой и раздумьем. А я ждал, когда луна наберет высоту и будет казаться, что она прыгнула ему

на рога. А луна все всходила и всходила и не доходила до кончиков рогов. И вожак пожалел луну, спрыгнул с камня, и луна сразу же оказалась на кончиках его рогов.

— Иди домой, позанимайся, пока дети спят! — крикнула мне мать.

— Подожди, луна поднимется на рога.

— И без тебя поднимется, иди в дом.

— Без меня не поднимется.

Потом, когда эта медлительная тугодум луна вздумала подняться еще выше кончиков рогов и показать, что это она сама, без чьей-либо помощи поднялась, вожак оторвал от нее рога и почесал под хвостом.

— Иди заниматься, — позвала меня мать.

— Подожди, луна покраснела...

— Это ты должен краснеть, что задолженность имеешь.

— Надо мной никто не смеялся, подумаешь, задолженность...

— Иди заниматься, Бабик, — пригрозила мать, — дождешься у меня!

Я сел за стол и хотел было приняться за примеры, но тут с ближнего холма пролаял Боб. Все сорок загонов встрепенулись и наострили уши. Потом показалось маленькое облачко дыма, и слышались выстрелы. Собаки сорвались с места. В первые же полминуты вперед вырвалась гончая, с боков, чуть поотстав, шли два его брата. Все трое черные и длинные. Замыкали компанию малые щеночки и нас, десять ребят, — всё до одного рыжеволосые. Я вскочил на лошадь заведующего фермой и опередил щенков. Вначале мы вздумали усесться на лошадь вдесятером, но не поместились... Боб взял след волка, но, когда мы подоспели, он решил, что свое дело сделал и вернулся к овцам. До самого вечера рыскали мы по горам. Потом вовсе упустили волка из виду. Мы сбились с ног и уже не знали, что делать, и тут снова залился лаем Боб — возле самой отары. Мы — туда... На этот раз нас вел его величество Боб собственной персоной. Он поймал волка, а уж мы — докончили. Отец зарезал задранную овцу и отдал собакам. Когда мы пришли домой, мать моя плакала.

— Ты почему плачешь? — спросил я.

— А почему не занимаешься?

— Волка ловили, — похвалился я.



В ее волосах проглядывались седины, а ведь ей всего лишь тридцать семь лет. Я понял, что мне надо садиться за математику. Но в сегодняшней суматохе потерялся мой учебник.

— Сын мой волка поймал, — сказал отец вечером.

— Если бы ты не побежал с собаками, Баб, они бы его не загнали, — сказал он мне. — Шкуру сильно испортили, ну да не велика беда.

— Учебник потерял, — сказал я. — Здесь заниматься невозможно. Завтра уеду отсюда.

Учителю Ахумяну я сказал, что мне совершенно необходимо выучить математику.

— Ну как там твои собаки? — спросил он.

— Да ну их, — сказал, — мне математикой нужно заняться. Мать вон сидит вся.

— Да, уж эти матери... — вздохнул он.

— А у вас есть мать?

— Была. Я ради нее учился... Ради нее выучился, а потом ее убили турки, а я остался сам по себе.

— А как — сам по себе, хорошо это?

— Да что ж тут хорошего? — сказал он.

— Как бы там ни было, — заговорил я о своем, — если мать хочет, я должен учиться. И потом, до каких это пор директор будет издеваться надо мной? Надо с этим кончать.

— Он неплохой человек, Овивян... Такие люди нужны в жизни. Если бы его не было, мы бы умерли от лени. Ведь мы все очень ленивые...

Потом мы занимались — он объяснял, а я понимал. В перерывах говорили: он рассказывал о городе Ване, откуда был родом, а я — о горах. И так целый месяц. Я уже сто раз рассказывал ему про нашего вожака-козла. В конце месяца, кроме математики, для меня ничего не существовало. Перезэкзаменовку я сдал на «отлично». Директор был в восторге. После этого на собраниях я всегда фигурировал в качестве перевоспитанного.

— Бабик Овивян вам пример: человек колоссальных способностей и колоссальной лени. Лени мы противопоставили строгость, и вышеупомянутый Бабик Овивян стал отличником.

Я потуплялся со скромным видом. Мне казалось, во мне, кроме этого скромного, есть еще один человек —

драчливый и ехидный, который не забыл еще про «прочерк». Но потом я понял, что этот ехидный так и не проснется во мне, а может, его вовсе во мне и не было, а скромность — самая хорошая штука на свете.

Вскоре учителя математики Ахумяна отправили на пенсию. Я навещал его время от времени, он рассказывал мне про Ван, а я ему, как это водилось между нами, про горы. Он знал наши горы назубок.

— Когда твоя мать состарится, — говорил он, — и ей будет все равно, кто ты, учитель или пастух, вставай и отправляйся в горы, пусти собак по следу, пусть гонятся за волком и ты с ними беги... беги себе...

Он умер, а меня оставили в техникуме преподавателем математики. И мне все слышалось, все мерещилось, как скулит Боб. Всех, кто приходил с гор, я спрашивал:

— Ну как там наш Боб?

— Боб? — смеялись они в ответ. — Боб наказывал, чтоб ты братьям своим прислал ботинки — от тридцать третьего размера и до сорок первого.

И волкодав Боб уменьшался, все уменьшался в моем сознании и уже умещался в ботинке.





## МОЯ ВОЛК

**С**ловно потерял, словно ничего не получал — 140 рублей студенческой стипендии растаяли за одну неделю. При каждой получке я помножал 3 рубля на 1 кг хлеба на 30 дней месяца, получалось 90 рублей, плюс 50 рублей — щедрый, сбивающий с толку излишек, который можно было пустить на что угодно — на конфеты, на театр, на кино. Но какие-то чудовищные силы незаметно путали во мне все расчеты, и я каждый раз говорил себе: «На этот раз ошибка получилась».

Училище снимало для нас комнату, в комнате стояла железная печка, двух-трех поленьев хватало на две-три растопки. Так же, как стипендия, дрова вспыхивали на секунду, согревали и мгновенно кончались. Еще в августе, когда меня привезли в училище, мой отец и наш односельчанин, живущий сейчас в Кировакане, при желтом свете керосиновой лампы вели расчеты, прикидывали, как мне прожить на 140 рублей. Отец почему-то считал на счетах, костяшки глухо

щелкали, и наш земляк говорил «проживет», но он и сам не знал, как это я проживу на такие гроши; мой отец ему не верил, но и не возражал, потому что возразишь — что толку. Они, взрослые, — и отец, и наш односельчанин, и руководство училища, — все они знали, что стипендия эта — мизерная, что дрова эти — ничто, но они ничего не могли придумать и надеялись на чудо. А чудом этим было то, что мы родились, чтобы жить, мы были детьми, и мы должны были жить.

Съездившись от холода, с книжками под мышкой, группа спитакцев и я чуть ли не бегом пришли домой. Спитакцы пихнули в ранцы учебники на понедельник и побежали на станцию. И выяснилось, что я напрасно спешил вместе с ними: они хотели поспеть на поезд, а мне некуда было идти. Их села были близко, они хотели провести воскресенье у отчего тонара, наесться там досыта и в понедельник вернуться с припасами. Села их были хлебные, а я даже из кироваканского своего закутка чувствовал нищету нашего села. В пустой, холодной комнате я остался один. На тумбочке у спитакцев лежал крошечный кусочек лаваша. Холодная печка и эта мышинная доля лаваша. Голод смотрел отовсюду — из мертвой печки, из холодной постели, из испорченного радиоприемника, из книжки Джека Лондона «Белый клык». Можно было сглотнуть слюну, задержать дыхание и услышать, как гудит печка в большой комнате хозяев, как хозяйская дочка, сидя на тахте, укрыв ноги шалью, перелистывает страничку и как пахнет, благоухает хлеб у них на столе.

Я пошел к нашему односельчанину домой. Это были хорошие люди. Их дочка была моей одноклассницей, их невестка была светловолосой, красивой, ласковой женщиной, но они уже отобедали, отец моего друга прилег после обеда подремать, и в доме царила тишина. Эта тишина смутила меня, а они не поняли, что у меня кончилась стипендия. И я не мог попросить у них в долг — как бы от имени отца: они помнили нищету нашего села. Я был еще совсем сопляк: я не мог просить в долг как бы в счет будущего. Я подумал, что их дочка тупица и никогда не сможет поступить в университет. И вышел вон.

Ворота в училище были закрыты, до понедельника там никого не было. Большой дом нашего родственника Седрака, его широкий двор и красивый балкон — все

было окутано среди этой зимы запахом горячего обеда. Их печка топилась так ровно, что дыма даже не видать было... Но в прошлый и единственный раз они не вспомнили, кем я им прихожусь. Седрак уехал из села давно, он принял меня за моего отца: «У дядюшки Аветика такой малый ребенок?»

Резко повернувшись, я еще раз прошелся перед домом Седрака с тем, чтобы хозяйка дома, убирая ковер с балкона, посмотрела бы на меня, прохожего, узнала бы и зазвала в дом, но балкон пустовал, двери были закрыты, и голос патефона доносился глухо, издали. Я задохнулся от слез и гнева.

Одним духом я добрался до общежития и толкнул дверь нашей комнаты. Дверь была закрыта, ключ висел на своем месте, в комнате никого не было — то же молчащее радио, раскрытая книга и крупица лаваша.

Я распорол матрац и из грязной, свалывшейся ваты вытащил то, что всегда было там и о чем никто не знал в городе Кировакане — мои трехи. Сплетенные моим отцом трехи. Матерчатые башмаки мои каждый раз промокали, скукоживались и жали. Запершись изнутри, я запихал матерчатые башмаки в матрац, секунду я оставался в носках — пол был нестерпимо холодный. Я надел трехи и замер перед дверью. Переждал, пока шаги хозяина в коридоре затихнут и выскочил — выскочил быстрее, чем заметили бы хозяева. Перекрыв ледяные покровы, сопровождаемый холодным лаем собак, продрогший, я пришел на станцию. Уже ночь была, я побежал рядом с товарным поездом, содрогаюсь, пропустил все вагоны, потом прыгнул и коленками и пальцами ухватился за последний вагон — ладони мои прилипли к мокрым поручням, и мне показалось, это хорошо. Шапка вот-вот должна была слететь с моей головы, колени были ободраны, но крови не было, потому что было холодно. «Еду в Грузию, в Шулавер еду, — соврал я проводнику, — бабка умерла». Он взял меня под бурку — от этой ласки я немножко раскис, но так и не сказал ему, что должен слезть через три станции, чтобы он думал, что деньги получит где-то возле Шулавера. Проехав мою станцию, я метнулся вниз — из его бурки, из бурки и из вагона, — пока еще поезд не набрал скорость. Было немножечко неловко

чувствовать спиной его взгляд, но поезд ушел. Все шло хорошо, я не испугался собак в Дсехе и не испугался мертвецов на кладбище. На рассвете я отворил дверь нашей полутемной комнаты и сказал, улыбаясь:

— Вот и я.

— Армоджан? — сел в постели мой отец. Матушка раздувала огонь в печке.

— Вуй, ослепнуть мне, деньги у ребенка кончились, ослепнуть мне...

Матушка вся была теплая-теплая.

— Ну что, братец? — в полутьме отец поднялся с постели.

— Ослепнуть мне, ослепнуть, не видеть такого...

Света в лампе прибавили. Шея тоненькая, большая голова почти в ногах, с голой задницей, на широкой деревянной тахте показался Грайр. Хныча, проснувшись Нанарик, села в постели, распахнула глазенки:

— Лампу зажгли, — потом розовые щечки растянулись, глаза наполнились улыбкой, губы вытянулись.

— Ослепнуть мне, деньги небось кончились...

Печка затрещала, почти подпрыгнула и обдала меня теплом, любовью, домом.

— Айта, пришел? — вытащил голову из ног Грайр. — Отгадай загадку, отгадаешь — вместо тебя пойду в Кировакан учиться.

— Ты как это брата встречаешь? — надевая трехи, сказал отец.

— А он что мне привез из города — ничего.

— Неетый, непитый, среди чужих... ослепнуть мне.

Отец пошел задавать корм коровам. Куры высыпали из хлева, встав на изгородь, дожидалась своего сена коза. Корова Нашхун, выгнув шею, смотрела на меня и мычала. Она была тяжелая, вот-вот должна была отелиться. Она — в этом месяце, а Сатик в мае.

— Самый трудный этот год, — сказал отец, — перетерпи зиму, в ноябре деньги за Нашхун отдам тебе.

Я не хотел, чтобы в этом доме что-то менялось.

— Нашхун не продавай, — сказал я.

— Придется продать, — сказал отец.

— Не продавай, я обойдусь.

Он мягко улыбнулся и, проходя рядом со мной, прижал мою голову к груди. Я быстренько почистил хлев, укрепил сено в сеннике, нащупал теленочка в

животе Нашхун — теленок блаженствовал в животе матери.

— Твой дед Аветик,— входя в хлев, сказала мать,— понимал в коровах больше фельдшера, но ни разу досыта не поел, со скотиной тебе нечего делать.

Мы поели картошки, поджаренной на ачаровом масле, выпили чаю с сушеными грушами. В обед ели сваренную с солью картошку и соленую капусту. Грайр стал показывать Нанарик волка на стене и стянул у нее одну картофелину. На стене никакого такого лгунишки волка не было, а одна из картофелин вроде бы пропала, Нанарик заподозрила неладное.

— Армик, после трех четыре идет или пять?

— Четыре.

— А почему у меня не пять картошек?

— Сосчитай до десяти, десять будет,— сказал Грайр.— Один, два, три, четыре, пять... десять.— И Грайр взвалил на плечи капкан, пошел ловить лисицу, в наших бедных краях он увидел на снегу следы лисицы. А отца все не было.

— Армик-джан, холодно там?

— Когда прихожу с занятий, иду к Асмик, сидим с ней возле печки, пока ихние придут. А после в постель забираюсь и читаю.

— А как же утром?

— Утром на занятия бегом идем, а когда бегом — не так холодно.

— Ну, в постели, когда читаешь, книжки читаешь, а как же уроки?

— Один раз в театре был.

— Не стесняйся, к Седраку иногда заходи.

— Не нужны они мне.

— Горячего обеда дадут.

Стесняясь, словно в чужой дом заходил, показался в дверях отец: он пошел смолоть единственный мешок зерна, а мельницы стояли замерзшие, встретившиеся по пути люди сказали, что все мельницы на нашей реке до самого большого Дебета замерзли, не работают, а и заработают — все равно молоть нечего.

— Ох, ослепнуть мне. Если на наших жерновах крупы себе наделаем, сумеешь как мужчина обед себе сварить? Горячий обед тебе будет, месяц проживешь, и не хлеб — не испортится. Давай крупы наделаем.



— Сварил бы, да дров нет. Училище когда дрова дает, в два дня кончаются.

— А кто это Асмик? Скажи Асмик, пусть сварит для тебя.

— Можно,— сказал отец.

«Нет, нельзя,— подумал я,— Асмик узнает, что я ем одну крупу на воде, нельзя».

— Нельзя,— сказал, оторвавшись от книги, Грайр. Отец с матушкой повернулись к нему:

— Это почему же нельзя, лопоухий?

— Армик влюблен в Асмик.

— Это у тебя в книжке написано?

Я сумел не покраснеть.

— Армик, а когда влюбляются — как влюбляются? — спросила Нанарик.

Отец с матерью засмеялись, и это было спасением для меня.

— Вот как ты в своего отца,— сказала мама.

— Я в отца влюблена, но в Армика — тоже.

— А в своего лопоухого брата?

— Грайр мою картошку украл.

Матушка и отец шептались в углу о том, что хорошо бы из этого зерна намолоть для меня крупу. Но я все равно не стал бы готовить, я бы стеснялся хозяйской дочки. Весело закрутился камень жернова; покачивая большой головой на тонкой шее, Грайр крутил жернов, а Нанарик поджаривала половину зерна для похиндза. Промолотое зерно просеяли, получилась грубая крупа, а то, что не промолось, снова засыпали в жернов. Потом мы промолотили поджаренное Нанарик зерно, но, чтобы Грайр не стянул поджаренного зерна, Нанарик отогнала брата и сама повисла на кончике жернова. И получилось — мелкая крупа, мука и похиндз. Мука тестом сделалась, почти что настоящим, крупа увязалась в отдельный мешок, похиндз сделался еще одним мешком. Этот вор, этот Грайр успел-таки стянуть похиндза, и все по вине матушки.

— Все из-за тебя,— заплакала Нанар,— и не виноватисься...

Молча усмехнувшись, мать про себя пожелала ей светлых, безоблачных дней и хорошего парня, славного муженька, а для Грайра взмолилась, попросила у господ бога должность руководителя хора в теплых, просторных палатах, а меня представила у доски в

белой скромной рубашке, объясняющим урок ученикам, и мир был весь таким чистым, и голоса — такими ясными, и счастье так звенело, счастья было так много, что мать самой себе отвела место на зеленом кладбище под молчаливыми камнями, и ее сердце востепенулось и зашло от радости и печали.

— Грайр — за уроки, Нанар — в угол, Армик — в корыто, быстро! — приказала мутушка.

— Какое корыто?

— Армик купаться будет!

— Воду я буду лить!

— Ты — девочка, Армик — мальчик, стань в углу и отвернись к стене!

— Я вчера мылся!

— А спину тебе кто тер? Голову кто намыливал? Ноги кто скреб?

— Кто? Асмик,— прочел в книге Грайр.

Мать зачихала меня в корыто, и вдруг я увидел, что я голый и держусь за трусы, не даю их стянуть, она вниз их тянет, я — вверх. Она, смеясь, шлепнула меня по руке, я обиделся, хотел заплакать, и вдруг горячая вода залепила мне рот, обожгла голову. Я закашлялся, и вдруг мыло ослепило меня и забило в рот. Сквозь мыльную пену я разглядел, как хмыкал и таращился на меня довольный Грайр и стояла в углу, послушно отвернувшись, Нанарик. Потом, уже в Кировакане, я понял, чем была занята в своем углу Нанарик. Мне показалось, я удерживаю руками трусы — но трусов на мне не было. Тут уж не на что протестовать — завыть можно было, но вода снова ошпарила мне голову и руки взлетели вверх, защитить голову. «Горячо-о-о-о!» Я захлебнулся, и снова мыло залепило мне глаза, и холод неожиданно обжег мне плечо. «Холодно-о-о-о!» Я услышал шлепок мокрой руки и смех Грайра (холодной, значит, облил меня Грайр), потом теплая вода мягко обволокла меня сверху донизу, обласкала, погладила и утешила. Сильные пальцы ухватили мой нос: «Сморкайся!.. Еще раз...» — и мягкое полотенце крепко обняло, обхватило меня...

Сквозь дрему я услышал: Нанар укрывает мне плечо, чей-то небритый подбородок поцеловал меня в лоб, в пятке моей заиграла старая знакомая боль, а может, пятка просто зачесалась? Я спрыгнул с поезда и упал в мягкую вату. Это наш дом. Мы возьмем с Грайром



санки, пойдём в лес, принесём рассыпающийся от сухости валежник, санки соскользнут с обледенелой тропинки. Чтобы удержать санки и удержаться самим, мы упрёмся трехами в снег. Санки прыгнут, скатятся с камня. Продрогшие, поеживаясь от холода, мы дадим коровам сена и воды и бросимся к печке. На печку нашлепаем ломтики картошки, сверху посыплем их солью и сядем читать «Жана Кристофа». Если заболеем, сокрушенно охая, кто-то поцелует нам лоб — это из другого конца пришла сестра отца, сквозь дрему, сквозь забытие вы различите ее встревоженную улыбку и гостинец — одно-единственное яблоко.

— Не поеду в Кировакан!

— Маленький, такой ещё маленький, девяти не сровнялось.

— Холодно, у всех пальто есть, кроме меня... Не нужен мне ваш хлеб!

— Изобью сейчас, как собаку!

— Ничего не изобьешь, а ваш хлеб ешьте сами!

— Ты ведь знаешь, Саак должен твоему отцу. Вернет долг, купим тебе пальто.

— В мае?!

— Что же нам, пойти убить того человека?

— Мне что, убивайте.

— Ты мой умный сынок, ты моя надежда, мое будущее, ты должен стать помощником своему несчастному отцу, должен первым человеком в Кировакане стать.

— Не стану.

— Станешь и скажешь: моя мать была права.

Вечером мы съели отварной картошки и выпили чаю с медом. На подоконнике остывали, чтобы быть потом сложенными в мешок, десять хлебов. Их хватило бы до самой стипендии. Нанарик улыбалась, но потом ее стошнило. Сидя в постели, она улыбалась мне, плотно сжав губы, щечки красные... Отец вернулся из хлева — что он принес, что он принес, что принес? — этой глубокой зимой для Нанарик белое гладенькое яичко принес. Кто его снес, кто снес, кто снес?..

— Золотое перышко.

— А кто съест, кто съест, кто съест?..

— Намажем... намажем... намажем... — заикаясь, пролепетала Нанарик, намажем на хлеб, получится гата.

Мать тайком утерла слезы.

— Не жить ей на свете, не жить, до того она хорошая, что не имеет права жить... — задохнулась мать.

Потом семейство легло спать. Грайр улегся на подушку, голова — между ног. Нанарик упиралась коленом Армику в грудь и улыбалась во сне. Армен подложил ладонь под голову сестренки. Он дышал во всю мочь своих чистых розовых легких и за каждые десять минут вырастал, вытягивался на целых десять сантиметров. Грайр во сне обманул всех, будто он лисицу поймал, большую, с целого волка, за шкуру пятьсот рублей дадут, отец шел сквозь мягкие зеленые поля. В темной комнате потрескивала, остывая, печка, мама лежала с открытыми глазами и видела этот холодный Кировакан, облитый луной, видела пропитанное медом желтое лето, белую рубашку на Армене, полное вымя козы и краснеющий помидор на грядке.

— Когда Саак вернет долг...

Это уже на дороге.

— Когда Саак вернет долг, пошлите мне, для Грайра куплю ушанку, для Нанарик — пальто.

— Нанар дома сидит все время, Грайр после обеда в школу ходит. Не нужны им ни ушанка, ни пальто.

— Летняя стипендия четыреста двадцать рублей составляет. Трижды по сто сорок.

— Ты говори и иди. Пальто на тебя сколько стоит?

— Один раз пошел, чтобы посмотреть, магазин закрыт был. Бегом обратно вернулся.

— Ты как это ноги ставишь?

— Не пойму, то ли чешется нога, то ли болит.

— Ничего, не голова ведь, нога. Человеком станешь, на лошадях да на машинах разъезжать будешь. По телефону позвонишь, скажешь — я это, лошадь за мной пришлите.

— В марте мне ехать на каникулы?

— Смотри сам, как тебе сподручней будет.

— Все разъедутся, что мне там одному сидеть.

— Ты — не все, ты — Армен, ты должен запомнить это.

— Летом, когда приеду, наберу малины, в Дилижане продадим.

— Подыщи в Кировакане какое-нибудь легкое дело, пристройся куда-нибудь сторожем.

— Летом?

— Отстаешь очень. Болит, видно, нога.

— Не знаю, чешется или болит. Если в деньгах дело, на малине больше заработаем.

— Брось думать про село, оторвись от этой нищеты.

— И летом?

— И летом, и всегда.

Когда я оглянулся с Кизилового холма, он стоял на коленях перед часовой святого Саргиса. Он не был верующим, это для меня он сделался сейчас верующим. Я остановился на холме Подснежников будто бы для того, чтобы поправить мешок за спиной, и тайком поглядел через плечо — он стоял возле часовни посреди белых снегов и махал мне рукой: иди, мол, иди, не останавливайся. В холодном безмолвии я слышал его тоненький, словно песенка прялки, голос:

— Иди, иди, иди...

В Айгетаке я сел передохнуть — в пятке стало покалывать, я подумал, что она занемела, разулся, потер ногу снегом. И тогда все покалывания объединились, стали клубком иголок, потом боль смягчилась и округлилась, словно вареное яблоко. Пятка была отморожена. Когда я прыгнул с поезда, я попал в лужу, пятка намокла, я и не заметил, как отморозил ее. Боль раздулась и маленькими волнами ударила по косточкам и внутрь. Я взял пригоршню снега и столько тер эту проклятую пятку, что боль наконец приутихла. Боль потухла. «Ну, теперь иди». Я выругал боль, как ругают живого врага. Когда я тер пятку и боль, съжившись, уходила в свою нору, я чувствовал, что кто-то тайком смотрит на меня. Я чувствовал этот сторонний взгляд и чувствовал, что он мною восхищался. Он говорит: «Позавидуешь твоему отцу — такого сына имеет». И я думал, что я достоин этой похвалы.

Я надел шерстяной носок, надел трех, завязал ремешки на трехе, а когда встал и поднял глаза, на снегу сидел какой-то приبلудный пес и смотрел на меня.

— Басар? — с чрезмерным дружелюбием спросил я. Но он не откликнулся, потому что был волк. Он отошел немного, но это не было бегством, он отступил ровно настолько, чтобы дать мне понять, что он волк. — Что тебе от меня надо, дрянь? — закричал я, но он раско-

рячился и не сводил с меня глаз.— Тебя еще не хватало, мать твою!..— Много лет спустя я вспомнил это и понял, что это был единственный случай в те годы, когда я выругался.— Тебя еще не хватало!..— напружинив спину, как молодой дубок, растопырив пальцы, этот ребенок двинулся, с каждым шагом делаясь сильнее и взрослее,— этот ребенок двинулся на волка.

Волк забрал хвост между ног и ощерился. Нанар улыбалась во сне, на тахте, усталый, прикорнул отец, а в давние времена японцы отняли у деда Симона его коленный сустав и вставили в колено своему генералу, а деду сказали — ступай себе. Я это слышал, когда был маленьким, худущие дети в нетопленном классе, мы рассказывали друг другу страшные истории, сжимались от боли и теснились возле холодной печки.

Не отводя побледневших глаз с этой твари, ребенок пошел задушить ее. С пересохшим горлом, этот ребенок шептал себе ободряющие слова и устремлялся прямо на волка. Волк отвел от него глаза, опустил голову и ногами поднял снежную пыль кругом: он наивно так захотел обмануть этого ребенка, чтобы потом прыгнуть на него, но ребенок знал, что волк обманывает его, и пошел навстречу волку медленно и твердо, как деревяшка, и волк забыл, что он волк, и, заскулив, отпрянул. Ребенок теперь стоял на истоптанном, изрытом снегу — там, где раньше стоял волк, он выпрямился и вырос разом, сейчас он был крестьянином, деревенским мужиком двадцати — двадцати пяти лет.

— Ну, ну, ну, подходи давай,— насмешливо сказал он.

И волк попятился и подпрыгнул, еще попятился и еще подпрыгнул, и снова поднял снежную пыль хвостом и ногами.

— Это мы знаем,— сказал ребенок.

И снова волк заскулил и отскочил. Потом прыгнул вперед. Покрутился на месте. Снова отодвинулся. Быстро вернулся, и, преследуемый, стал убегать. Что-то похожее на продуманный план мелькнуло в его поведении, словно под шкурой волка прятался мудрый противник. Ребенку приоткрылся край неведомого ужаса. Это был волк, гиена или сама смерть? Парализованные, онемели нервы. Ребенок должен был уничто-

житься прежде, чем волк успел бы напасть на него. «Оте-е-ец...» — но он почувствовал, что голос его уже мертв, и, как будто во сне, ребенок увидел: приближаясь и удаляясь, волк все еще плясал, отпрыгивал, кружился в прыжке, чуть-чуть придвигался и, на манер преследуемого, делал два-три прыжка, убегал вроде бы. И ребенок увидел, что он встает, — с прутом в руках по снежному полю проходила мать. На белом снегу показался еще кто-то, кто-то очень близкий, родной, из их семьи: он приблизился к этому родному существу и понял, что приблизился к своему мешку. «Мешок-джан, — сказал он и заплакал, — хотел съесть меня волк». А волк все еще приплясывал, приближаясь-удаляясь. Ребенок рассказал, пожаловался мешку, что волк хотел обмануть его, как обычно обманывают волки ослов.

Волк хотел, чтобы я его, будто бы струсившего, преследовал, преследовал до какого-нибудь оврага или леса, подальше от дороги, а я повернулся и взвалил на себя свой мешок с мукой-крупой-хлебом. Волк стоял, обдумывая ситуацию, но эта странная добыча, я то есть, не оставляя ему времени на размышление, удалялась. Волк безвольно поплелся за ускользящей добычей, надеясь по пути сообразить, как ему быть дальше. Добыча останавливалась — с ней вместе останавливался и волк, добыча ускоряла шаги — волк трусил быстрее. Добыча обернулась и сказала: «Что тебе от меня нужно, падаль?..» — а волк оглянулся по сторонам в замешательстве, не понимая, что ему говорят. Мальчик поправил мешок на спине и зашагал, уже не обращая внимания на волка, и волк пошел следом, скорее как попутчик, за компанию. Возле холмов мальчик снова поправил мешок и сказал: «Давай, давай, как раз дсехские собаки соскучились по тебе», — а волк загляделся на прыгавшую в снегу полевую мышь и задержался.

У поворота они оказались совсем близко друг к другу, волк весь напрягся и вот-вот уже должен был прыгнуть, но тут с шумом пронесся самолет и послышалось собачье тьяканье — впереди помаргивал огнями Дсех. Волк не повернул обратно, он подумал секунду и пошел вровень с мальчиком, на небольшом расстоянии. Но впереди было село, утопающее в собачьем лае, мягко погруженное в него, как в густой

теплый войлок, огоньки прыгали и выглядывали из-под нахлобученных крыш, и мальчик с усмешкой сказал:

— Ну что же ты, идем, совсем немного осталось...

И их тропинки стали медленно расходиться: мальчикова тропинка завернула в село, а волчья тропинка будто бы захотела обогнуть собачий лай, но, как только вошла в лес, волк перестал скользить бесшумно, перешел на рысцу и помчался напрямик к Айгетаку, туда, где, по его глупому разумению, все еще сидел и растирал отмороженную ногу мальчик.

До Дсеха волк, а после Дсеха — воспоминание о нем не дали мне почувствовать боль в ноге. Станционный зал был залит светом и теплом наполнен. Положив голову мужу на колени, спала жена русского капитана. Не женщина — слон. Группа солдат, стесняясь капитана и самих себя, отпускала шуточки в адрес степанаванской модницы; кто-то, очень похожий на моего отца, отломил ножку от курицы и сунул мне в руку, его сынишка посыпал соли на свой кусок мяса, посолил кусок отца, взял щепотку соли и, рассыпая соль, сполз со скамьи и очутился передо мной; ласковым, любящим взглядом окинула меня чья-то мать, скрестив руки под большими грудями, она смотрела на меня и на этого ребенка... И от этой теплой ласки завывала, взорвалась моя нога. Боль нашла сочувствие и захотела быть обласканной. С мясом во рту я катался по скамье, меня словно резали на куски, уже стал сбегаться народ... Но тут подошел поезд.

— А ну, как уши тебе оторву, что тогда скажешь? Возьму да и отрежу,— спокойно сказал проводник почтового вагона.

— Можешь резать, если они лишние, а если не лишние — зачем отрезать?

— Нет, я вижу, язык тебе надо отрезать, больно длинный он у тебя.

— Да зачем резать-то?

— Ты знаешь, куда ты забрался?

— В почтовый вагон.

— Для чего?

— Чтобы денег не платить.

— Это как же?

— А вот так.

— Известно тебе, что это запрещено?

— Известно.

- Почему же забрался?
- Специально. Чтобы украсть твою почту. Сяду дома, стану читать.
- Нет, видно, придется все-таки отрезать тебе язык.
- А как же мне на экзаменах отвечать?
- Учишься?
- В педагогическом.
- Учителем, значит, будешь? Откуда сам?
- Из нашего села.
- На ответы ловок. Что в мешке везешь?
- Буйвола украл, хочешь половину?
- Как остановлю сейчас поезд, как ссажу тебя прямо в поле.
- Останавливай.
- Что в мешке-то, говоришь?
- А что есть, то для меня, не для тебя.
- Если б в настоящий вагон сел, сколько бы проводнику дал?
- Нисколько.
- Это как же? Телега твоего отца это, что ли?
- Ага.
- А как спихну тебя с поезда?
- А как я тебя спихну?
- А ну, прыгай! А не то я тебе помогу.
- Попробуй-ка сам спрыгни.

Он извел меня, пока мы доехали до Кировакана. Мне было противно не знаю как, и боль ни на минуту не отпускала меня.

Хлеб был соленый и, как песок, не прожевывался. Нанарик, когда меня купали, чтобы сделать лучше, подлила воды в тесто, подсыпала соли. Я хотел было разозлиться, но вспомнил ее щечки, когда она улыбалась с закрытым ртом. Даже когда у меня подводило живот от голода, хлеб этот невозможно было есть. А может быть, мне не так уж и подводило живот от голода, потому что тайком от самого себя я то и дело отсыпал и жевал похиндз.

Спитакцы прикончили свой лаваш, растратили свои рублевки и, склонившись над книжками, бросали косые взгляды на мой мешок, но хлеб был соленый и было стыдно его предлагать. Никто не должен был знать, что моя мать испекла соленый хлеб.

В дверь постучалась хозяйская дочь Асмик, просунула красивую головку — она пришла спросить, где

находится Пиренейский полуостров, и посмотреть-полюбоваться на меня, но у меня не было времени и я не знал, где находится этот полуостров, и пусть оставят меня наедине с моими заботами и не мешают мне заниматься. «Очень надо!» — Асмик обиделась и ушла, ее уши раскраснелись от обиды, она изо всех сил хлопнула дверью, и от этого толстая коса ее, перехваченная у самого основания белой лентой, закачалась и обвилась вокруг шеи...

От холодной воды у меня заболело горло, и спитакцы с издевкой заулыбались, потому что я их не пожалел и не поделился с ними хлебом. Мать Асмик принесла горячего чая, но мне не нужен был их чай... Того волка и того проводника почтового вагона я любил больше, чем их, — их жалость меня убивала.

Преподаватель литературы Мамиконян, сказали мне, справлялся о моем здоровье и собирается навестить меня. Я оделся, запер свою тумбочку и смотался. Башни санатория «Арев» устремлялись в небеса под холодное карканье ворон, в снегу показалась и исчезла то ли апельсиновая корка, то ли яблоко, собачий лай был далек, как воспоминание, но собака ударилась об меня и с воем отскочила. Пенаты, почти что палаты дядюшки Седрака, были чистые и просторные, в их теплой кухне стоял аромат горячего супа, но их невестка была всегда не в духе и никогда не улыбалась. Каким путем возвращаться в общежитие, по улице Школьников или по улице Гончаров? Матушка-а-а...

Ночью хозяева взяли меня к себе. Отец Асмик приложил мокрую тряпку к моему лбу, а мать суетилась, разогрела обед. Отец Асмик, когда учился в Ереване, вот точно так же заболел однажды, его вылечила хозяйская дочка, а я вот нагрубил Асмик, как нехорошо, Асмик не дала бы мне заболеть. Асмик почти что готовый врач. «Значит, ел соленую рыбу и запивал холодной водой? Что же ты так, а? Ну ничего, ничего, в два дня вылечим». Он с силой разомкнул мне рот и влил туда обед. Он заставил меня проглотить слезы, горячий обед, гнойные пробки. «Побратались», — сказал он. Утром он ушел на дежурство, а я убрался в свою комнату, лег в свою холодную постель.

— Я тебе чаю принесла. С лимоном.

— Не просили у тебя лимона.

- Хочешь без лимона?
- И без лимона не просили.
- Подумаешь!
- Уходи отсюда!
- Не уйду!
- Говорят тебе — убирайся!
- Грубиян!

Отец Асмик вернулся с работы. Пришел и устало сел на мою постель. Он не знал, то ли говорить, то ли дремать. Все в нем — и то, как он стучался в дверь, и как рухнул, сев, и то, как говорил, — все было медленное и непреложное. Он сказал:

— Кто из нас лучше парень — я или ты?

Сказал:

— Если болит, не отвечай.

Сказал:

— Но мы с тобой должны вместе сесть за стол.

Я посмотрел на свою тумбочку и окаменел.

— Возьмем твой хлеб, — сказал он, — мой хлеб возьмем и как мужчины, сядем за стол, как настоящие друзья-товарищи.

Я покачал головой. Он сказал:

— Да я не о тебе, не о тебе я думаю, о себе — не могу один обедать. В армии привык за компанию.

Обманывал, конечно.

— Врешь, — сказал я.

— Вру или не вру, — сказал он, — все равно я старше.

Он тяжело поднялся, тяжело, словно булыжник доставал, вытащил из моей тумбочки один хлеб, всеми легкими вдохнул его запах и сказал так, что я до сих пор это помню:

— Нашего трудного хлеба запах. Вставай.

Пока я дошел до их комнаты, я десять раз взмок и обсох. Я видел перед собой его тяжелую спину и в руках его — мой соленый, жуткий хлеб. Я стеснялся смотреть на Асмик, потому что она видела мое поражение. Этот хлеб, испеченный моей матерью и сестренкой из зерна, которое мой отец понес к овитовской мельнице и вернулся ни с чем, весь мокрый от досады и от того, что шел в гору... Вот этот вот хлеб он положил рядом с городским легким белым хлебом и сел, уперев локти в стол. Он содержал семью, их скатерть была белым-бела, в доме их было тепло, он

привел к себе в дом больного мальчика и хотел накормить его обедом, он был спокоен... Он не знал, что горло у этого мальчика перехвачено от обиды, он медленно протянул руку, отломил от моего хлеба краюху, понюхал ее и стал есть.

Продолжая жевать, он подмигнул мне.

— Ничего, ты парень что надо, но и мы не лыком шиты. Горчицу ел когда-нибудь, чистую горчицу?

Он жевал мой соленый хлеб и рассказывал. Жене и дочке он не дал притронуться к моему хлебу, положил его перед собой и, медленно разжевывая, словно камень зубами разламывал, рассказал:

— Горчица, чистая горчица, по истории пятерки получаешь, знаешь, конечно, что такое ленинградская блокада. А вообще-то — ничего не знаешь. Это когда тебя схватят за горло и душат, без конца душат, и ты знаешь, что это не сон — проснешься, и пройдет. Глядя тебе в глаза, тебя душат — это и есть ленинградская блокада.

Под снегом был разрушенный дом, он снег этот разрыл... нет, почему же, как собака, собака такое не выдержит... Но ведь мы люди, верно?.. Разрыл снег и нашел коробку сухой горчицы, горчичной муки. Кругом все белым-бело, весь мир белый, и коробка горчицы. Смешал со снегом, получилась горчичная жижа, мешать было трудно, руки озябшие, и снег не тает, и он выпил эту горчичную жижу. Кишки начали гореть, он мог поклясться, что видит, как они полыхают. Он схватился обеими руками за живот, засунул голову между ног и упал. Так и валялся в снегу, ни силы в нем, ни памяти. Одно только знает, что горчица теперь в нем, внутри, что, убивая, она даст ему выжить...

— Ешь, ешь, — сказал он, — не знаешь еще, к кому пришел. Нашел, чем удивлять...





## МЕДВЕДЬ

**Д**ело к ночи было. Медведь вышел из оврага и направился к палаткам. Собаки, коровы, доильщицы, лошади, свиньи — все вверх тормашками встало, а сам медведь преспокойно ушел в свой овраг, унося с собой то самое бабушки Геворга Абовяна, учителя, стыдно сказать что, но то, что бабки снизу надевают. А возле палатки в это самое время с ружьем в руках стоял сам учитель Геворг Абовян. Они с медведем увидели друг друга, постояли, посмотрели один на другого, потом медведь подмигнул учителю, подхватил штаны и — шась в овраг. С ружьем в руках учитель плюхнулся на землю и давай по ней кататься, подыхая со смеху.

— Стреляй, ты что рот разинул!.. ступай, беги за ним, что ж ты смеешься, балда!..

— Да ведь... ха-ха-ха-ха!.. да ведь дробью, дробью заряжено... ха-ха-ха-ха!..

Ему в руки карабин дали и на лошадь посадили:

— Ну, теперь-то иди...

— Бабка, то, что ты постирала, что на веревке повесила, где это... что постирала, что вон там висело... — подыхая со смеху, говорил учитель, но доильщицы ничего не понимали и торопили его:

— Ступай, поспеешь еще, иди же...

Он стегнул лошадь, но то ли лошадь была жеребенком необъезженным, то ли подпруга не так затянута была, — он свалился с этой лошади.

— Ах ты шут такой, недотепа, черт!..

Про штаны — все это выдумки, никаких таких штанов медведь не уносил, остальное — суцая правда. Медведь ночью залез в свинарник, на следующий день девушек в малиннике напугал до смерти, потом перекроил бурку пастуха и собаку его заодно. Свиной за уши покусал, у девушек ведро с ягодой отобрал, оторвал еще у одной собаки пол-уха и хвост. В селе посмеялись над всем этим. Но потом он обнаглел. Сразу десяток свиной загубил. И решили в селе, что надо убить его.

И тогда Геворг, учитель, пришел к старому охотнику Гиришу, чтобы вместе на медведя пойти.

— Значит, говоришь, делов наделал... — усмехнулся в усы дядюшка Гириш.

— Да, говорят вот.

— Ай-яй-яй. Убьем. Раз вред нанес, раз много вреда нанес, значит, убьем. Говоришь, убить нам надо его, так?

— Говорят, пойдите с дядюшкой Гиришем, убейте.

— Ай-яй-яй. Убьем. Раз сказали, убейте — значит, убьем. — Так он разговаривал и обвязывал проволокой ружье, прилаживая дуло к прикладу... — Говоришь, на летнем выгоне сам был, когда гость заявился, что же не убил?

— Дробью было заряжено ружье, на медведя пули не было.

— Дробью заряжено было, для медведя пули не было, понятно. А когда на лошадь посадили и карабин в руки дали, отчего не нагнал его?

— Лошадь меня сбросила.

— Сбросила, значит, лошадь... — Дядюшка Гириш говорил и тихо про себя посмеивался. — Верю, дробью было заряжено, карабин поздно принесли, лошадь



необъезженная была, сбросила, вот и не убил. Верю, верю,— он говорил и потихоньку обматывал дуло проволокой, мотал так, мотал, пока проволока не кончилась.— Ну пошли, значит.

— А тебе ружье?.. Ты что, с этим вот... пойдешь?

А дядюшка Гириш, значит, охотник, любит охоту. День-деньской крутится в полях — наверняка много дичи приносит и наверняка недозволенную дичь тоже стреляет, и председатель сельсовета Никол приходит к нему по вечерам угощаться мясом куропатки, «как сядет, так и с места не поднять его больше». «Поддай ружье»,— говорил дядюшка Гириш жене. Сельсоветовский Никол за недозволенную охоту отбирает у дядюшки Гириша ружье, уходит, а на следующий вечер снова является. Снова ест мясо куропатки, снова уносит ружье. В конторе уже штук десять ружей набралось. Но все это — одно ружье. Одно ружье, разобранный на десять частей, и еще на десять можно разобрать, и выглядит это так: у одного ружья только дуло настоящее, у другого только приклад, у третьего только затвор, а у двадцатого — настоящим будет, наверное, только мушка, к одной настоящей части дядюшка Гириш прилаживает что под руку подвернется — молотком да кусачками, тут проволокой, там веревкой — вот и ружье готово. Та страсть охотничья, что в нем — одной этой страсти достаточно,— из ничего сделает ружье, создаст-сотворит, но чтоб дома обязательно мясо куропатки было. Или медвежье мясо, или — лани.

А если хотите знать правду, Никол ни разу у него не ел мяса дичи — куриное бывало мясо. Или поросенка. Или — теленка. Если хотите знать, никакой он не охотник, Гириша просто притягивают люди, поля и луга, и он, чтобы как-то оформить это в глазах окружающих и своих тоже — вкладывает в это какой-то смысл, закидывает ружье за плечо, не ружье даже, а что-то вроде ружья: «Глядите, вот я, охотник, иду охотиться! А вот и мое ружье».

— Медведя из этого разве убьешь? — сказал учитель Геворг.— Это же дубина.

— Зато у тебя карабин, из него зато убьешь.

Они оба знали, где берлога. Пошли встали перед ней.

— Дурень-то внутри,— сказал Геворг.— Словно о

дружке говорил, с которым вчера еще вместе кутили и лоботрясничали.

— Внутри — значит, убьем. Ежели б вреда не нанес хозяйству, так не убили б...— И старик по-домашнему, словно к брату родному, заглянул в берлогу.— Што-о-о... можно?

Проснулся мишка, поглядели они со стариком друг на дружку, и медведь тихонечко, деликатно вышел из берлоги. Старик посторонился, дал медведю пройти и, когда тот проходил рядом, шепнул ему на ухо: «Ну что, виноват ведь, а?»

Геворг выстрелил поздно.

Сидя перед берлогой медведя, они посмеялись над убегающим хозяином, выкурили по самокрутке и сочинили объяснение: «Выстрелили — не попало. Выстрел слышали? Ну вот».

Потом убытков, причиненных медведем, стало больше, и дядюшка Гириш и Геворг каждый раз отправлялись, стреляли в него, пока внештатный корреспондент газеты «Вперед к социализму» не прознал, что охота на медведя запрещена, и написал в газету: охота-де на медведя запрещена, а дед Гириш и Геворг стреляют. Из райцентра последовал звонок: сообщили о запрете и между прочим о размерах штрафа.

А в селе уже не до смеху было.

— Да ведь медведь, с каких пор он стал безобидным, это что же такое. А мы вот возьмем да прихлопнем его, а вы нас возьмите да и оштрафуйте. Посмотрим, как это вы нас оштрафуете.

Из райцентра снова позвонили, попросили принять к сведению, что штраф после предупреждения возрастает вдвое. «Предупреждаем в последний раз».

В селе вроде бы испугались.

А медведь продолжал бесчинствовать. Убил корову. И тогда в райцентр невозмутимо, спокойно так сообщили, что медведь задрал корову и попросили подождать у телефона: «С новым сообщением ждать не заставим». И на следующий день радостно объявили: «Так, пустяки, один теленок, неплеменной, с подбитым рогом...»

Из райцентра предложили убить медведя: «Разрешаем убить, но именно этого, слышите. Мясо и шкуру прислать в райцентр как государственную собственность».



— Медведь — краса природы, — сказали на этом конце провода, — мы эту красу не станем уничтожать.

Вот тогда-то и явилась бригада охотников. У берлоги с тылу встал чемпион Олимпийских игр Васико Гогоберидзе, слева четырехкратный чемпион Закавказья Акоп Мегруни, справа писатель, охотник Вахтанг Ананян, а спереди водитель такси Карапет Арутюнян в паре с инструктором райкома Виленом Хачатряном. Одним ударом они прикончили этого медведя, разнесли-размозжили его непонятливую башку, потроха оставили здесь, мясо и шкуру увезли с собой в столицу.

У старика Гириша сейчас только одно ружье — самое что ни на есть настоящее. Поля притягивают старика, и, для того чтобы придать своим прогулкам смысл в глазах окружающих, да и собственных тоже, старик закидывает на плечо ружье — будто бы на запрещенную охоту идет. Медведя, конечно, встречает. Оба делают вид, что не видят друг друга, но иногда останавливаются: глядят друг на дружку. Старик не стреляет, потому что существует штраф, медведь не нападает, потому что ружье у старика настоящее. Вот так. А чтоб глазом подмигнуть — этого между ними больше нет.













60 c

60 x

